



ГЕННАДИЙ  
ОБОЛЕНСКИЙ  
ИМПЕРАТОР  
ПАВЕЛ I  
ЕВГЕНИЙ  
КАРНОВИЧ  
МАЛЬТИЙСКІЕ  
РЫЦАРИ  
ВЪ РОССІИ



РОССІЯ  
XVIII ВѢКЪ

Оболенский Г. Л. Император Павел I. Карнович Е. П. Мальтийские рыцари в России // Дрофа, 1995  
ISBN: 5-7107-0551-9  
FB2: Ego <ego1978@mail.ru >, 28 December 2007, version 1.0  
UUID: 70b6c296-fe30-102a-9d2a-1f07c3bd69d8  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Евгений Петрович Карнович

# Мальтийские рыцари в России

Произведение рассказывает об эпохе Павла I. Читатель узнает, почему в нашей истории так упорно сохранялась легенда о недалеком, неумном, недальновидном царе и какой был на самом деле император Павел I.

# Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЯ . . . . .	0006
I . . . . .	0009
II . . . . .	0022
III . . . . .	0037
IV . . . . .	0049
V . . . . .	0063
VI . . . . .	0076
VII . . . . .	0090
VIII . . . . .	0103
IX . . . . .	0115
X . . . . .	0130
XI . . . . .	0146
XII . . . . .	0161
XIII . . . . .	0179
XIV . . . . .	0194
XV . . . . .	0211
XVI . . . . .	0226
XVII . . . . .	0244
XVIII . . . . .	0259
XIX . . . . .	0275
XX . . . . .	0290
XXI . . . . .	0305
XXII . . . . .	0323
XXIII . . . . .	0339
XXIV . . . . .	0355

XXV .....	.0367
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ И ЗАБЫТЫХ СЛОВ .....	0385

**Евгений Петрович Карнович  
Мальтийские рыцари в  
России**

*Историческая повесть из  
времен императора Павла I*

# ОТ ИЗДАТЕЛЯ[1]

Время, к которому относится настоящий рассказ, принадлежит не только к замечательным, но и к своеобразным эпохам нашей истории. При революционных движениях, охвативших запад Европы, Россия тогда не только поддерживала там прежний политический порядок, но и являлась защитницей римско-католической церкви. Учреждения, ревностно служившие интересам этой церкви – орден иезуитский и орден Мальтийский, – не только нашли радушный прием в столице православного государства, но и начали влиять в значительной степени на внешнюю политику России, а вместе с тем отчасти и на внутренний наш порядок. В то же время иезуиты явились наставниками той среды русского юношества, перед которой преимущественно должно было открыться впоследствии обширное поле государственной деятельности. Такое странное положение дел установилось у нас не постепенно, но совершенно неожиданно вследствие личного образа действий императора Павла Петрови-

ча. При неумелости окружавших его лиц направлять государственные дела, при пылком его воображении, переменчивом характере и готовности к великодушно-политическим порывам главный представитель иезуитизма патер Грубер приобрел своею ловкостью и смелостью такое могущественное влияние, пред которым в изумлении отступили русские вельможи. Мальтийские рыцари и французские эмигранты явились также деятельными участниками в политических интересах России.

Автор этого рассказа, желая оставаться верным истории, попытался представить эту замечательную эпоху отчасти в повествовательной, отчасти в драматической форме и позволил себе вывести только несколько неисторических личностей, которые, так сказать, являясь как бы представителями того времени, высказывали бы господствовавшие тогда мнения в нашем обществе и толки, ходившие в народе. Для объяснения в некоторых случаях хода политических дел в рассказ введен автором и романтический элемент — любовь графа Литты к Скавронской, но и это

обстоятельство совершенно верно. Изображая же таких главных действующих лиц, какими являются император Павел, аббат Грубер, митрополит Сестренцевич, графы Кутайсов, Пален и некоторые другие, г. Карнович строго держался исторических данных, не допуская при этом никаких собственных вымыслов и произвольных прикрас. Во внешней же обстановке выдержана всевозможная историческая точность, так что тот, кто прочитает сочинение г. Карновича «Мальтийские рыцари в России», ознакомится в главных чертах со всем, что заключается в исторических документах, современных этой эпохе, а также и в записках частных лиц, как из русских, так и из иностранцев, и познакомится со всем тем, что, по неотдаленности еще той поры от нынешнего времени, могло появиться в нашей печати.



В просторной комнате, предназначенной, как можно было заключить по всей ее обстановке, для учебных занятий, сидел у стола, наклонившись над книгою, мальчик лет тринадцати-четырнадцати. Наружность его не отличалась не только красотой, но даже и милοвидностью, и лишь откровенный взгляд его темно-серых глаз и добродушная улыбка, проявлявшаяся по временам на его губах, делали приятным его детское лицо и ослабляли то выражение надменности и задора, какое придавал его физиономии широкий и вздернутый кверху нос. На этом мальчике были надеты: суконный коричневый кафтанчик французского покроя с полированными стальными пуговицами; такого же цвета короткое исподнее платье, белый казимировый камзол и кожаные черные башмаки с высокими каблуками и большими стальными пряжками. Его светло-русые волосы, зачесанные вверх над лбом, были распущены по плечам. Чистота одежды, белизна камзола, свежесть плоеного коленкорового воротничка и

таких же манжет, выпущенных из-под рукавов, показывали, что за этим мальчиком был тщательный домашний уход.

Облокотясь локтями на стол и подперев ладонями щеки, он внимательно, хотя и быстро, читал вполголоса лежавшую перед ним объемистую книгу. По временам лицо его заметно одушевлялось, глаза начинали блестеть, и он то задумывался над книгою, как будто припоминая и соображая что-то, то снова, с усиленным вниманием, принимался перечитывать только что прочитанное им. Видно было, что содержание этой книги чрезвычайно занимало его. Иногда он с нервной живостью делал на страницах ее отметки ногтем, а иногда, отрывая от лежавшего перед ним листа бумаги клочки, клал их как памятные знаки между страницами читаемой им книги. Заметно, впрочем, было, что не только книга сама по себе возбуждала его любопытство, но что вместе с тем внимание его привлекали к себе и находившиеся в ней превосходно гравированные портреты; на некоторые из них он засматривался подолгу.

Портреты эти изображали каких-то стар-

цев и пожилых мужчин. Одни из изображенных на портретах особ были в рыцарских доспехах, другие в широких мантиях, третьи в одеждах, похожих по покрою на подрясники, с большими на них осьмиконечными крестами на груди. Оставляя на несколько минут чтение, мальчик торопливо перелистывал книгу, чтобы взглянуть поскорее на портреты, и тогда перед глазами его начинали мелькать то суровые, то добродушные, то воинственные, то надменные, то смиренные лица. Одни из изображенных на портретах витязей были с огромными старческими лысынами, другие с взъерошенными вверх, коротко стриженными волосами, третьи с длинными кудрями или с повисшими вниз долгими прядями волос. Были тут и бородатые, и безбородые. Короче сказать, коллекция портретов представляла чрезвычайное разнообразие как в отношении физиономий, так и в отношении одежд. Под портретами виднелись гербы, увенчанные коронами, шлемами и кардинальскими шапками, осененные херувимами и знаменами, украшенные военными трофеями и обвитые лавровыми и паль-

МОВЫМИ ВЕТВЯМИ.

На заглавном листе этой книги значилось: Histoire des Chevaliers Hospitaliers de St. Jean de Jerusalem, appellees depuis les Chevaliers de Rhodes et aujourd'hui les Chevaliers de Malte. Par. M-r l'Abbe Vertot d'Auboeuf de l'Academie des Belles-Lettres, MDCCXXVI, т. е. «История гостеприимных рыцарей святого Иоанна Иерусалимского, называвшихся потом родосскими, а ныне мальтийскими рыцарями. Сочинение г. аббата Верто д'Обефа, члена Академии изящной словесности».

Книга аббата Верто в течение долгого времени пользовалась среди образованной европейской публики большою известностью и замечательным успехом. Аббат, несмотря на преклонность своих лет, на носимое им духовное звание и на принадлежность к Мальтийскому ордену, отрешился в своем сочинении и от усвоенных исстари приемов при составлении книг подобного рода. Он отверг все легендарные сказания, переходившие без всякой проверки через длинный ряд веков от одного поколения к другому и гласившие о непосредственном участии Господа и его свя-

тых угодников как в военных подвигах, так равно и в обиходных делах Мальтийского рыцарского ордена. Сомнительно отзывался аббат о чудесах, совершенных свыше во славу и на пользу этого духовно-воинственного учреждения, и прямо заявлял, что считает произведением праздной фантазии такие несбыточные рассказы, как, например, рассказ о том, что однажды трое благородных рыцарей, по усердным молитвам их, перенесены были какою-то невидимую силою в одну ночь из Египта на их отдаленную родину в Пикардию. За подобное слишком смелое отрицание чудес, проявлявшихся в былые века, среди боголюбивого и благочестивого рыцарства добросовестный Верто получил прозвание «аббата революций», а книга его, по распоряжению римской курии, подпала «sub index», т. е. была внесена в список книг нечестивых, крайне опасных для верующих, а потому подверглась строгому гонению со стороны римско-католических церковных властей. Между тем эти-то именно преследования и доставили книге аббата Верто громадную известность, а вместе с тем и множество самых усердных читателей.

Очистив историю рыцарства от легенд, не имевших очень даже простодушной прелести, навеваемой игрою слишком пылкого воображения, но прямо ударявших в глаза беззастенчивостью вымысла, аббат Верто тем не менее в несомненно достоверных сказаниях Мальтийского ордена нашел яркие краски для изображения действительной жизни этого древнего учреждения. Картинно и красноречиво, но вместе с тем и правдиво рассказал он в своей книге о судьбе рыцарей, подвизавшихся во имя Иоанна Крестителя с самых первых дней их появления в Иерусалиме, когда они, будучи еще монахами, променяли монастырь на странноприимный дом для безвозмездного служения там страждущим и недугующим богомольцами. На попечение их стали поступать бедные и больные пилигримы, приходившие издалека, со всех сторон, в Иерусалим на поклонение гробу Господню. Но подвиги смиренно монашествующей братии не ограничивались только сердоболием, и когда в обетованной земле после некоторого затишья наступила снова борьба христиан с неверными, то монахи-иоанниты стали

браться за оружие и мужественно сражались с врагами Креста. Таким образом, они успели соединить милосердие с воинственностью, а их духовный и в то же время рыцарский орден вскоре снискал себе повсюду громкую известность и приобрел безграничное уважение со стороны всего западного христианства.

Число рыцарей иоаннитского ордена с каждым годом увеличивалось, и наличных его членов было уже достаточно не только для того, чтобы исполнять первоначальные обязанности по призрению странников, но и для того, чтобы выставить на боевое поле значительную вооруженную силу. Кроме того, уничтожение в 1312 г. королем французским Филиппом Красивым ордена тамплиеров, или храмовников, имевших также сперва местопребывание в Иерусалиме, а потом перебравшихся во Францию, возвысило иоаннитский орден, не встречавший уже себе соперника среди рыцарства. В число членов ордена св. Иоанна Иерусалимского начал поступать цвет европейского дворянства, и вскоре орден из первоначальной монашеской общины обратился в самостоятельное государство,

успев завоевать для себя остров Родос. Он начал именовать себя «державным» орденом св. Иоанна Иерусалимского, и титул этот признали за ним все монархи. Он вступал в международные договоры со всеми государствами как равный с равными, вел от своего имени и своими вооруженными силами войны с врагами христианства и, устроив на Средиземном море значительный флот, направил свои усилия на истребление пиратов, имевших притоны на северных берегах Африки. Верховный представитель державного ордена св. Иоанна Иерусалимского, носивший звание гроссмейстера, или великого магистра, а также «стража Иерусалимского гостиного дома» и «блюстителя рати Христовой», был торжественно избираем на всю жизнь из среды знатных и доблестных рыцарей этого ордена. В своем высоком сане он признавался – как и природные монархи – государем, властвующим «Божью милостию», и пользовался почти такой же обширною властью и таким же высоким почетом, какие в то время присвоены были не зависевшим ни от кого европейским государям. Великие магистры о приня-



тии ими над орденом верховной власти извещали через нарочных послов европейских государей, которые при своем вступлении на престол в свою очередь оказывали им такое же внимание. Рыцари-иоанниты в отношении к великому магистру считались подданными; они приносили ему присягу в верности и послушании, а в церковной службе имя великого магистра провозглашалось как имя царствующего государя. Знаками его власти были: корона, «кинжал веры», или меч, и государственная печать с его изображением. В ознаменование же двойственного своего владычества – духовного и светского он имел титул «*Celsitudo eminentissima*», т. е. преимущественнейшего и преосвященнейшего высочества.

Мало-помалу прежняя община монахов-иоаннитов преобразовалась окончательно в военно-рыцарский орден, сохраняя, однако, в течение многих веков отпечаток своего первоначального монашеского происхождения. Члены ордена, как и вообще все монашествующие, приносили обет послушания, безбрачия и нищеты. Вступая в орден, они отре-

кались от своего имущества или в пользу своих наследников, или – обыкновенно бывало – в пользу орденовской братии, и хотя впоследствии они могли приобретать имения, но не имели уже права располагать ими по духовному завещанию, и имения эти – после смерти их владельцев-рыцарей – делались достоянием ордена. Иоанниты на первых порах своего существования держали себя безупречно. Они жили не только скромно и просто, но даже и убого, употребляя все свое имущество на помощь страждущим ближним, на украшение храмов и на борьбу с врагами христианства. Но прежний суровый быт монахов-рыцарей начал постепенно изменяться: собранные орденом имущества и постоянно приливающие в его казну богатства поколебали давние суровые добродетели, а великие магистры, считаясь владетельными особами и подражая им, стали жить с королевскою пышностью. Тяжелые железные доспехи иоаннитов прежнего времени были заменены у изнежившихся их представителей XVIII века модными французскими кафтанами из бархата и шелка; на головах их вместо груз-

ных стальных шлемов и черных клобуков появились щегольские береты с разноцветными перьями, модные парики с пудренными локонами и изящные треуголки с плюмажем, с золотыми галунами и бриллиантовыми аграфами, а грубые ремни, поддерживавшие рыцарскую броню, были заменены уборами из батиста и кружев. Обычный свой наряд — красные супервесты и черные мантии с нашитыми на них крестами из белого полотна — рыцари-иоанниты надевали только в торжественных случаях, т. е. так редко, что не узнавали друг друга, собираясь вместе, в этом заброшенном ими стародавнем наряде.

Орден все более и более отступал от своих древних учреждений, и в прошлом столетии с названием рыцаря иоаннитского, или Мальтийского, ордена неразрывно было связано понятие о дворянине хорошего старинного рода с порядочным наследственным состоянием. На иоаннитов стали смотреть как на людей светских, думавших о веселой жизни, а не как на монахов-рыцарей, посвятивших свою жизнь подвигам благотворения да трудным и опасным походам против морских раз-

бойников и неверных. Несмотря, однако, на все это, орденский устав, хотя и не соблюдаемый строго даже в существенных его статьях, носил еще на себе отпечаток рыцарства былых времен.

К началу XVIII века рыцарство везде уже отжило свое время. Религиозные его основы не составляли никакой приманки для людей набожных, которые стали предпочитать монастырское спокойствие бурной рыцарской деятельности, а дворянство, жаждавшее боевой славы, начало искать ее не в рыцарских орденах, а под знаменами могущественных государей и под предводительством прославившихся полководцев. Тем не менее сказания о былой жизни рыцарей вообще и преимущественно столь знаменитых, какими считались рыцари Мальтийского ордена, покрывшие себя славою военных подвигов и на суше и на море, могли еще впечатлительно действовать на молодое слишком пылкое воображение. Рыцари этого ордена были озарены блеском воинских доблестей и геройских деяний, совершенных их предшественниками; они жили на счет былой славы своего ор-

дена, и надобно отдать справедливость ученому аббату Верто, что он как нельзя лучше воспользовался бывшими под руками материалами для того, чтобы написать самую увлекательную историю из времен исчезнувшего рыцарства.

Проходили обычным чередом год за годом после того, как белокурый мальчик с таким вниманием читал книгу аббата, но навеянные на него этим чтением впечатления и думы не изгладились из его памяти. Увлечение, так сильно его охватившее, не оставляло его окончательно и в ту пору, когда он сперва перешел в юношество, а потом и в возмужалые годы. Все, что касалось судьбы полюбившихся ему мальтийских рыцарей, постоянно занимало и живо затрагивало его, и, наконец, ему представилась возможность принять в ней самое деятельное участие после того, как в ночь на 7 ноября 1796 года в лице его явился Павел I, император и самодержец всероссийский.

Немного встречается в истории лиц, стоявших на недостижимой высоте над общим уровнем человечества, судьба которых была бы так печальна, как судьба императора Павла I: всю свою жизнь он, собственно, был страдальцем, мучеником своего высокого жребия. Едва стал он приходить в детское сознание, как все окружавшее начало раздражать и волновать его восприимчивую душу. Все способствовало к тому, чтобы из этой личности, не только мягкой и доброй, но даже и великодушной, вышел впоследствии человек, отличавшийся суровостью, изменчивостью и вдобавок чрезвычайными странностями и причудами, так что он в различное время был как будто совершенно разным человеком. Если, однако, вникнуть во все обстоятельства, сопровождавшие детство, юношеские годы и даже зрелый возраст великого князя Павла Петровича, то достаточно объяснится та загадочность характера, какую отличалась эта во многих отношениях далеко недюжинная личность.

Все лица, оставившие после себя записки или заметки об императоре Павле, единогласно свидетельствуют об его уме и благородных порывах. Ученый Лагарп – этот честный республиканец, на свидетельство которого можно положиться, между прочим писал: «Я с сожалением расстался с этим государем, который имел столь высокие достоинства. Кто бы мне сказал тогда, что он лишит меня моего скромного пенсiona и предоставит меня ужасам нужды? И тем не менее повторяю, что это человек, которого строго будет судить беспристрастное потомство, был великодушен и обладал источником всех добродетелей».

Императрица Елизавета Петровна была чрезвычайно обрадована рождением Павла, как наследника престола. Она устранила его мать от всякой о нем заботы и взяла его на непосредственное свое попечение. Сперва она нежила своего двоюродного внука, забавлялась и тешилась им по целым дням. Но даже под самым тщательным надзором императрицы, женщины, не имевшей никакого понятия о первых потребностях правильного воспитания, великий князь не мог находить-

ся в тех условиях, которые благоприятно действовали бы на ребенка. Вскоре, однако, на долю его выпала еще худшая участь. При непостоянном своем характере императрица совершенно охладела ко взятому на ее попечение малютке и передала его в безотчетное заведование дворцовых приживалок. О том, как тогда было мало за ним даже такого ухода, какой имеется за детьми в обыкновенных семьях, можно заключить уже из того, что будущий наследник русского престола вывалился однажды из люльки и проспал на полу целую ночь, никем не замеченный. Нянчившие Павла Петровича женщины имели на него самое вредное воздействие. От этих приставниц привились к нему суеверие и предрассудки, а их вздорные рассказы дали ложное направление и умственному, и нравственному его развитию, и трудно было ему впоследствии совершенно освободиться от всего, что было навеяно на него глупыми пестунами во время его детства. Их нелепые бредни расстраивали его необыкновенно пылкое воображение; от них научился он верить в сны, приметы и гаданья. Одиночество



В потемках нагоняло на него даже и в зрелые годы ту бессознательную и неодолимую боязнь, какую испытывают дети, запуганные вымыслами о мертвецах, привидениях и домовых. Впрочем, не одни только фантастические страхи смущали его: при блеске молнии и ударах грома болезненный и слабый ребенок дрожал всем телом, а боязливое его настроение иногда доходило до того, что даже скрип внезапно отворенной двери или неожиданный стук или шорох приводили его в нервный трепет.

Пугая ребенка и мохнатым, разгуливающим по ночам чертом с хвостом, когтями и рогами, и Бабой Ягой с костяной ногой, и богоугодившим пророком Ильею, разъезжавшим летом по небесам в огненной колеснице, мамы и няньки добавляли к этим личностям, устрашавшим ребенка, и императрицу Елизавету Петровну. Они застращивали ее малютку, словно каким-то пугалом, и Павел боялся приблизиться к ней; он не шел на ее зов и ревел благим матом, когда его насильно подводили к бабушке, желавшей порою погладить его по головке. Вообще запугивание не одни-

ми мертвецами, но живыми людьми было в обычае воспитательниц Павла, и оно породило в нем ту одичалость и ту непривычку к незнакомым людям, которые он всегда преодолевал с большим усилием над собою, хотя от природы был скорее общителен, нежели нелюдим.

При императрице Елизавете Петровне, не обращавшей никакого внимания на образование своего двоюродного внука, обучение его началось довольно странным способом. Первым наставником его был Федор Дмитриевич Бехтеев, об учености и педагогической опытности которого говорить много не приходится. В ту пору грамота считалась делом куда как трудным и замысловатым, и потому радевшие о своих учениках наставники старались по возможности улаживать горький корень учения применительно к забавам детского возраста. В свою очередь Бехтеев надумился учить Павла Петровича посредством деревянных и оловянных куколок, изображавших собою мушкетеров, гренадеров и разного рода представителей воинской силы и боевой славы. Все эти солдатики были поме-

чены или буквами русской азбуки, или цифрами. Усевшись за учебный стол, Бехтеев приказывал своему ученику ставить солдатиков то попарно, то в шеренги, то повзводно, и при такой постановке сперва выучил он помеченные на куколках «аз», «буки», «веди» и т. д., а потом научился составлять из солдатиков склады, слоги, слова и целые предложения. Точно так же применялось строевое расположение игрушечных солдатиков и к заучиванию «цифры», а затем и к первым правилам арифметики.

Вообще такое воспитание Павла Петровича продолжалось довольно долго. Обстановка его изменилась, однако, когда к нему был приставлен в качестве главного воспитателя граф Никита Иванович Панин, один из первых вельмож той поры, человек, пользовавшийся общеою известностью за ум, образованность, честность и стойкость убеждений. Когда разнесся слух об этом назначении, мамки и няньки, окружавшие великого князя, начали ахать и охать и хныкать о своем «сердешном» и вместе с тем принялись стращать малютку Паниным. В застрачивании этом они

до того успели, что при первом появлении своего нового воспитателя ребенок побледнел, затрясся, растерялся и бросился опрометью из комнаты. Немало стоило Панину приручить к себе маленького дикаря. Он начал с того, что немедленно прогнал из покоев наследника весь многочисленный состоявшийся при нем бабий штат, который до такой степени был неразлучен с великим князем, что даже постоянно обедал с ним за одним столом, причем приставницы, из нежности к ребенку, закармливали его чрез меру чем ни попало.

– Уморит он нашего голубчика! – заголосили сердобольные мамы и няни.

– И покушать-то не даст ему вволю, и «учебою» затомит его, сердешного, до смерти.

Новый воспитатель не обращал на эти сетования никакого внимания и с первого же раза, что называется, подтянул своего питомца. Теперь избалованный мальчик услышал строгий, решительный голос своего наставника. Панин не стеснялся с ним нисколько, ворчал, журил его и даже прикрикивал на него и отдавал ему приказания с тою резкостью, ка-

кая впоследствии слышалась в повелениях самого императора Павла. Тяготясь надзором Панина, великий князь тужил о той свободе и о том приволье, какими он пользовался прежде под охраною женщин, и со слезами на глазах вспоминал своих прежних снисходительных приставниц.

Вскоре, однако, он нашел снисходительность, доходившую до неуместной слабости, в помощнике Панина, молодом и хорошо образованном офицере, Семене Андреевиче Порошине. В системе воспитания великого князя произошли теперь многие изменения. Так, прежние фантастические застрачивания заменились совершенно иными, для осуществления которых воспитатели употребляли не совсем благовидные средства – подлоги и обман. Удерживая Павла от дурных наклонностей и поступков, они говорили ему, что вся Европа наблюдает за ним, что во всех государствах знают о каждом его поступке, недостойном его высокого сана, так как об этом немедленно будет напечатано в иностранных газетах. Чтобы уверить его в этом, по временам печаталось нарочно несколько экземпля-

ров заграничных ведомостей, в которых были помещены в виде сообщений из Петербурга сведения об образе жизни наследника, его занятиях науками, играх и шалостях. Эти подложные газеты давались ему для прочтения, и ребенок, обманываемый таким хитрым способом, к удовольствию своих приставников из чувства самолюбия старался вести себя, как следует благовоспитанному мальчику, на которого смотрит вся Европа. Выдумка эта имела, однако, и дурное последствие: когда со временем проделка открылась, то в уме Павла вкоренилась мысль о том, до какой степени даже самые честные, по-видимому, люди, окружающие высоких особ, бывают способны на хитрости и обманы, и, разумеется, такое убеждение могло влиять на развитие той подозрительности, какой отличался Павел и которая была так тяжела и для него самого и для его окружающих.

Умственное образование великого князя под надзором Панина шло успешно. Лучшие наставники, как русские, так и иностранные, приглашены были преподавать наследнику науки по обширной и разнообразной про-

грамме. Собственно, для него была составлена богатая библиотека, наполненная преимущественно роскошными иллюстрированными изданиями. В учебной его комнате находились: физический кабинет, а также коллекция монет и минералов. Не было забыто и развлечение физическим трудом, в его комнате был поставлен токарный станок со всеми принадлежностями этого ремесла. Верховая езда, фехтование и танцы были предметами тщательного обучения. Короче сказать, он имел все средства для того, чтобы получить превосходное по тогдашнему времени научное образование, и должно сказать, что заботы Екатерины по этой части не прошли бесследно. Павел Петрович отличался способностями и любознательностью, он превосходно говорил по-французски, легко объяснялся по-немецки, хорошо знал славянский язык, а латинский до такой степени, что читал в подлиннике Горация и мог вести на этом языке отрывочные разговоры. Обучение Павла Петровича не ограничивалось одним только чтением книг, но из них он делал выписки: привычку эту он сохранил и в зрелые годы, при-

бавляя к деламемым им выпискам свои собственные замечания и рассуждения. В числе самых любимых его книг была «История ордена святого Иоанна Иерусалимского», написанная аббатом Верто. Он прочел эту книгу несколько раз, и не подлежит сомнению, что под влиянием ее слагались в нем те рыцарские понятия и та прямота, которые так порывисто и так странно проявлялись у него даже среди самовластных его распоряжений.

Согласие между графом Паниным и его молодым помощником продолжалось недолго. Павел нисколько не уважал мягкосердечного Порошина, забавлялся над ним, а между тем потворство воспитателя превосходило всякую меру. Вскоре Порошин под благовидным предлогом был удален от великого князя за слабость. Сохранилось, впрочем, известие, что истинной причиной его удаления была какая-то невежливость, оказанная им фрейлине, графине Анне Петровне Шереметевой, на которой думал жениться Панин. Устранение Порошина имело невыгодное влияние на нравственное развитие Павла, так как ворчливый Панин действовал на него только



строгостью и заботился только об умственном его образовании.

Обстановка великого князя вне учебной комнаты не способствовала нисколько тому, чтобы его характер мог принять хорошее и твердое направление. Первые свои впечатления он получил среди того ханжества, которым отличался двор императрицы Елизаветы Петровны в последние годы ее жизни, когда истинное религиозное чувство было заменено только обрядностью, да и вообще воспоминания Павла о первых годах его жизни не представляли ничего ни отрадного, ни поучительного. В кратковременное царствование Петра III он был совершенно забыт; доходивший потом до него гул государственного переворота, замысел Мировича, московский бунт впечатлительно действовали на его восприимчивую душу. Затем, в день празднования его совершеннолетия и его брака с великою княгинею Натальею Алексеевною в Петербурге было получено первое известие о появлении самозванца под именем Петра III.

Никита Иванович Панин, несмотря на многие прекрасные качества, делал при вос-

питании Павла множество ошибок. Страстный поклонник Фридриха Великого и приверженец всего прусского, он допускал, чтобы все немецкое хвалили перед наследником в ущерб русскому. Он позволял лицам, окружавшим Павла, издеваться над Петром Великим и осмеивать простоту жизни этого государя. Павлу Петровичу рассказывали разные анекдоты, направленные к уничтожению русских. Так, ему передавали, что когда однажды Петр I прибил палкою какого-то заслуженного генерала, то последний принял посыпавшиеся на него удары с особым благоговением, сказав: «рука Господня прикоснулась меня!» Сам Панин рассказывал великому князю, как фельдмаршал Шереметев отдул за кражу батогами какого-то дворянина, который после этого с благодарностью повторял, что с него точно рукой сняло. При рассказах о таких расправах наследнику внушали, что «люди стали недотыки, что дворянина теперь нельзя выбрать, а прежде дули палочьем и никто не смел сказать слова». Внушали ему, что нет честных людей, что все – воры, а граф Александр Сергеевич Строганов изощрял свое

остроумие французского пошиба на то, чтобы выставлять перед великим князем глупость русского народа. Между тем все разговоры, которые слушал Павел, не оставались без последствий: они входили в собственные его воззрения и суждения и вселяли в него недоверие к достоинствам и способностям его будущих подданных. В свою очередь, Панин любил «морализировать о непостоянстве и легкомыслии» и внушил Павлу, что «государю кураж надобен».

Независимо от этого все окружавшее Павла Петровича содействовало, с одной стороны, раздражению его пылкого воображения, а с другой – усилению тех недостатков, которые впоследствии сделались отличительными чертами его характера.

Наконец, особенности положения Павла Петровича как наследника престола по отношению как к матери, так и к близким ей лицам, вели к тому, что характер его сложился на совершенно своеобразный лад, а затем быстрый переход из угнетенного положения к неограниченному могуществу – когда каждое его слово делалось законом – произвел в

нем переворот, который не мог не отразиться на его понятиях и на образе его действий.

Чем более мужал Павел Петрович, тем яснее сознавал он всю затруднительность и щекотливость своего высокого положения. Отчужденный от всякого участия в государственных делах, как внутренних, так и внешних, он был, при его кипучей природе, обречен на совершенную бездеятельность. Он и его супруга Мария Федоровна имели великолепные апартаменты в Зимнем дворце. Здесь происходили у них праздничные выходы и торжественные приемы по всем правилам, усвоенные этикетом версальского двора. Здесь они нередко давали пышные обеды, вечера и балы. Для летнего пребывания им был отдан дворец на Каменном острове. Но отношения между великим князем и его матерью становились все более и более натянутыми, и, когда императрица подарила ему Гатчину, он перебрался туда на постоянное жительство и только изредка, да и то неохотно, являлся в Петербург. В Гатчине он жил, окруженный небольшим числом приближенных лиц, и в то время, когда двор императрицы блистал

великолепием и роскошью и беспрестанно оживлялся торжествами и празднествами, наследник престола не только жил уединенно в своем загородном имении, но и нуждался в денежных средствах.

Полюбив тихую Гатчину и желая обстроить ее, он произвел большие затраты. Когда же начал строить дворец в Павловске, то для покрытия требовавшихся при этом издержек вынужден был входить в долги, которые чрезвычайно озабочивали его. Кредиторы его, а также и разные подрядчики, подбиваемые недоброжелателями, подавали на него государыне жалобы за неплатеж долгов. По поводу этих жалоб ему приходилось выслушивать выговоры, упреки, внушения и наставления, так как императрица всегда с крайним неудовольствием платила его долги. Однажды Павел Петрович был до такой степени стеснен кредиторами, что, преодолев свое самолюбие, должен был обратиться с просьбой о выдаче ему денег к князю Потемкину, который, разумеется, с полною готовностью поспешил исполнить его просьбу, но эта-то притворная угодливость еще более раздражи-

ла Павла Петровича. Великий князь, щедрый по природе, не имел материальных средств, чтобы награждать заслуги и преданность окружавших его лиц, из которых почти никто не имел своего собственного состояния. Поэтому вместо подарков и наличных денег он выдавал им векселя. Когда сроки этим векселям наступали, то обыкновенно бывало так, что для уплаты по ним денег у Павла Петровича не было, и это ставило в самое неприятное положение как его самого, так и того, кому был выдан вексель. Конечно, люди, близко знавшие великого князя, могли и ценить его добрые порывы, и понимать ту неблагоприятную обстановку, в какой он находился, но большинство лиц, не знавших сути дела, приходило к заключениям, подрывавшим нравственный и денежный кредит великого князя. Выдавалось даже и такое время, что Павел Петрович не мог иметь хорошего стола. В такие тяжелые для него дни некто Петр Хрисанфович Обольянинов, служивший прежде в провиантском штате, а потом состоявший в гатчинской команде великого князя, приступал к занятиям по своей прежней части, про-

довольствуя великого князя кушаньями, приготовленными на его, Обольянинова, кухне, под надзором его жены, доброй женщины и заботливой хозяйки.

Если Павлу Петровичу нелегко было переносить разного рода материальные лишения, то еще тяжелее ему было переносить нравственные страдания. Обращение Павла Петровича вне службы с кем бы то ни было носило всегда на себе отпечаток той утонченной вежливости, какою вообще отличалось старинно-французское воспитание; все светские приличия были соблюдаемы им не только с образцовою строгостью, но и крайней щепетильностью. Ни взгляд, ни выражение лица, ни движение, ни голос Павла Петровича не выражали в этом случае никогда ничего неприятного или обидного для того, с кем он вел беседу. Замечательное остроумие его не было направлено при этом к тому, чтобы кольнуть или уязвить кого-нибудь, но, напротив, лишь к тому, чтобы высказать какую-нибудь неожиданную любезность или тонкую похвалу.

Павел Петрович нередко обижался распо-



ряжениями императрицы. Когда он во время турецкой войны просил у нее позволения отправиться в армию Потемкина в скромном звании волонтера, то Екатерина не дозволила ему этого под предлогом скорого разрешения от бремени его супруги и выражала опасение, что южный климат повредит его здоровью. Огорченный такими возражениями наследник престола не без раздражения спросил у матери:

– Что скажет Европа, видя мое бездействие в военное время?

– Она скажет, что ты послушный сын, – спокойно и равнодушно ответила императрица.

Павел Петрович понял, что после такого ответа все его домогательства и просьбы об отпуске в армию будут бесполезны, и молча покорился воле матери.

В начале шведской войны он опять просил у императрицы дозволить ему отправиться в армию фельдмаршала графа Мусина-Пушкина. Императрица с неудовольствием выслушала заявление такого желания, но так как прежних благовидных поводов к отказу не

было, то она поневоле должна была согласиться на просьбу сына.

Дорого, однако, поплатился великий князь за данное ему позволение участвовать в шведской войне. Надобно сказать, что еще и прежде приближенные к императрице лица, находившие или выгоду, или только удовольствие в несогласиях между матерью и сыном, внушали Екатерине, что чрезвычайно неудобно оставлять Павла Петровича владельческим герцогом Шлезвиг-Голштинским, так как в качестве самостоятельного государя он, достигнув зрелого возраста, может завести особые сношения с европейскими дворами. Под влиянием этих опасений Екатерина спешила покончить с королем датским дело об отречении великого князя от родовых его прав на герцогство Голштинское и Шлезвигское в пользу Дании. Такая же обидная подозрительность со стороны Екатерины к Павлу Петровичу выразилась и во время шведской войны. До сведения императрицы довели, что принц шведский, Карл, ищет случая лично познакомиться с Павлом Петровичем и старается сблизиться с ним. Этого было достаточно

для возбуждения в государыне самых сильных, хотя и вовсе неосновательных, подозрений, и Павел Петрович, к крайнему его прискорбию, был немедленно отозван из армии, действовавшей против шведов.

Огорчения его не окончились только этим. После шведской войны императрица написала комедию, разыгранную в 1789 году в Эрмитаже. Комедия эта носила название «Горе-богатырь». В ней был выставлен неразумный сын-царевич, просящийся у матери-царицы на войну. Мать отпустила его неохотно, а он вместо того, чтобы удивлять всех своими храбрыми подвигами, только смешил неприятеля своим неуместным и забавным молодечеством. Богатырь этот прозывался Косометович, потому что отец его, любивший играть в свайку, косо метал ее, почему его и прозвали Косометом. Говорили, что цель этой комедии была осмеять забавную удасть шведского короля Густава III, затеявшего неудачную войну с Россией, но все частности этого насмешливого произведения, а между прочим намеки на царствующую мать и на неумелость отца-царевича, заставляли думать, что комедия

эта была направлена не на Густава III, а на Павла Петровича, и он имел достаточно поводов принять на свой счет те насмешки, которыми изобиловало произведение его матери.

Вообще, если присмотреться к той обстановке, среди которой вынужден был жить великий князь, то окажется, что не было ничего удивительного, если он направил всю свою деятельность на строевое обучение сформированного для него из морских полков немногочисленного Гатчинского гарнизона. Только в отношении этого отряда войска он был полный хозяин, а имея в своем распоряжении солдат, бывших постоянно на мирном положении, он мог заниматься с ними лишь фронтовой их выправкой и установлением разных мелочных порядков по однообразной гарнизонной службе. В ту пору прусская армия во всей Европе считалась, как считается она и теперь, образцом совершенства. Хотя она одерживала блестящие победы собственно под предводительством короля Фридриха Великого, весьма мало заботившегося о воинской выправке и воинских артикулах, тем не менее общий голос военных специалистов то-

го времени признавал, что гениальный полководец не имел бы никогда таких успехов на полях битвы, если бы не располагал армией, тщательно обученной его предшественником. Между тем предшественник его, Фридрих Вильгельм, был самый ревностный поборник солдатчины в тесном значении этого слова, и для него потсдамский плац-парад был единственным святилищем военной науки. Павел Петрович разделял тогдашний взгляд на великое значение фронтовой выучки, разводов, караульной службы, вахт-парадов, и т. д., и потому для своего гатчинского «модельного» войска он усвоил все порядки, существовавшие в прусской армии, и оказывал неусыпную, педантическую деятельность для водворения и развития их в гатчинской команде. Он часто ходил мимо казарм, и тогда все должны были выходить оттуда, и беда была тому, кто не исполнил этого приказа. Он с балкона дворца смотрел в подзорную трубу и присылал к караульному солдату через адъютанта приказание оставить ружье или поправить амуницию.

Принцесса Саксен-Кобургская, выдавшая

свою дочь за великого князя Константина Павловича, заехала к своему будущему свату в Гатчину, и вот что она писала по поводу своего посещения этой резиденции наследнику русского престола: «Мы были очень любезно приняты в Гатчине, но здесь я очутилась в атмосфере, совсем не похожей на петербургскую. Вместо непринужденности, царствующей при дворе императрицы, здесь все связано, формально и безмолвно. Великий князь умен и, может быть, приятен, когда захочет, но у него много непонятных странностей, и между прочим то, что около него все устроено на старинный прусский лад. Как только въезжаешь в его владения, тотчас появляются трехцветные шлагбаумы с часовыми, которые окликают проезжающих на прусский манер, а русские, служащие при нем, кажутся пруссаками». Слобода в Гатчине, казармы, конюшни были перенесены в Россию из Пруссии.

Нельзя, однако, сказать, что мелочные занятия с гатчинским гарнизоном вполне удовлетворяли Павла Петровича. Одновременно с этими занятиями он обдумывал разные об-

ширные планы и предложения, относившиеся к порядку государственного управления, подготавливая их втихомолку к тому времени, когда к нему, по воле Провидения, перейдет верховная власть. Кроме того, он много читал и делал по-прежнему обширные выписки из прочитываемых им книг. Будучи не только любителем, но и отличным знатоком современной французской литературы, он увлекался господствовавшими в ней тогда идеями об обновлении человечества в политическом и нравственном отношениях, и увлечение этими идеями рождало в нем сочувствие к тем явным и тайным обществам, которые хотели осуществить такую задачу. Вообще эта задача сильно занимала его, и он в 1782 году, будучи в Венеции, говорил однажды графине Розенберг: «Не знаю, буду ли я на престоле, но если судьба возведет меня на него, то не удивляйтесь тому, что я начну делать. Вы знаете мое сердце, но вы не знаете людей, а я знаю, как следует их вести». Получив впоследствии верховную власть, Павел Петрович задумал, между прочим, преобразовать к лучшему русское общество введением в него совершенно

чуждых этому обществу рыцарских элементов; он надеялся, что таким способом ему удастся достигнуть его политических и социальных целей и со свойственной ему пылкостью начал прививать в России мальтийское рыцарство, полагая, что оно достигнет у нас обширного развития и благотворно повлияет на весь наш быт.



## IV

Лет за семьдесят с чем-то до вступления на престол Павла I, как говорит предание, в достоверности которого нет повода сомневаться, какое-то не слишком чиновное лицо, состоявшее в царской службе, проезжало по Лифляндии на почтовых лошадях. При переезде с одной станции на другую приезжий этот остался недоволен медленной ездой и потому в дополнение к грозным словесным внушениям вздумал по существовавшему тогда обычаю расправиться собственноручно с везшим его ямщиком.

— Если бы ты знал, какая в Петербурге у меня родня, то не посмел бы меня тронуть, — проговорил по-латышски оскорбленный возница.

Расправлявшийся с ним проезжий потребовал от находившихся на станции лиц, чтобы ему было переведено по-русски выражение ямщика, показавшееся ему по смелому тону чрезвычайно дерзким. Требование проезжего было исполнено, и тогда он приступил к дальнейшим расспросам.

– Что же у тебя за важная такая родня в Питере, что и тронуть тебя нельзя? – издеваясь, спросил проезжий. – Небось брат или дядя капралом в гвардии служит?.. А?.. Так, что ли? – выкрикивал проезжий.

– Императрица – родная сестра моя, – гордо и самоуверенно проговорил обиженный, и слова его были переданы по-русски проезжему, который от изумления вытаращил глаза и разинул рот.

Хотя настоящее происхождение императрицы Екатерины I Алексеевны никому, даже и самому Петру Великому, не было в точности известно, но тем не менее проезжий господин был чрезвычайно озадачен такой неожиданной встречей.

– Вишь, что ты, мерзавец, выдумал! – гаркнул он. – Видно, с ума спятил!..

Обиженный, не смутившись нисколько, подтвердил свои слова.

– Пстой, разбойник, я покажу тебе, какой ты братец государыне!.. Будешь ты меня помнить!.. – грозил он и, приказав связать самозваного родственника императрицы, представил его местному начальству для содержания

под крепкой стражей.

Вследствие этого возникло по тайной канцелярии важное государственное дело, о котором тотчас же было доведено до сведения самого государя. Приказано было удостовериться, справедливы или ложны показания человека, назвавшегося родным братом Екатерины Алексеевны. После строгих допросов, продолжительных розысков и тщательных справок выяснилось, что ямщик Федор был действительно родной брат Марты, приемыша мариенбургского пастора Глюка, сделавшейся пленницею фельдмаршала Шереметева. Оказалось также, что у Федора – а следовательно, и у Екатерины – были еще: другой родной брат, по имени Карл, и две сестры; из них старшая была замужем за крестьянином Симоном Генрихом, а младшая, Анна, за Михелем Иоахимом, тоже крестьянином.

Петр Великий, чуждый всякой аристократической спеси, признал в этой убогой крестьянской семье родню императрицы и представил Екатерине ее братьев в той простой одежде, в которой они обыкновенно ходили. Неизвестно, думал ли Петр обрадовать Екате-

рину неожиданною находкою ее родственников, или же он хотел дать ей наглядный урок смирения. Как бы то ни было, но, по своим понятиям, он не находил нужным обогащать и возвышать Федора и Карла Самуйловых, равно ни к чему не пригодных, потому только, что они были родные братья императрицы. Он оставил их на житье по-прежнему в деревне, приказав только, чтобы местная власть имела о них постоянное попечение, не давала никому в обиду и чтобы они соответственно потребностям скромного их быта не имели ни в чем нужды. Таким образом, в царствование Петра Великого братья Екатерины, довольные своей судьбой, оставались в совершенной безызвестности.

Вступив в 1725 году на императорский престол, Екатерина I вызвала к себе из деревенской глуши своих родственников, но они не тотчас показались в Петербурге, а жили около столицы на стрельницкой мызе. Только 5 апреля 1727 года родные братья государыни, Карл и Федор, принявшие фамилию Скавронских, под которою в последнее время стала известна их сестра, были возведены в граф-

ское достоинство Российской империи и были наделены огромными богатствами. В герб новопожалованных графов были внесены три розы, напоминавшие о трех сестрах Скавронских, жаворонок – по-польски «skawronек», так как от этого слова произошла их фамилия, и друглавые русские орлы, не только свидетельствовавшие, по правилам геральдики, об особом благоволении государя к подданному, но и заявлявшие на этот раз о родстве Скавронских с императорским домом. Теперь перед бывшими крестьянами все стали принижаться; вельможи являлись к ним с поздравлением и заискивали их милостивого внимания, а представители знатнейших русских фамилий считали для себя не только за честь, но и за счастье породниться с «графами Скавронскими». Не одни, впрочем, русские добивались этой чести – руки бывшей крестьянки искал даже такой богатый и сильный польский магнат, каким был Петр Сапега.

При возвышении Карла и Федора Скавронских не были забыты и мужья сестер императрицы старшей – Симон Генрих, названный

Симоном Леонтьевичем Гендриковым, и младший – Михель Иоахим, названный Михаилом Ефимовичем Ефимовским. В царствование Анны Иоанновны и в правление великой княгини Анны Леопольдовны вся родня Екатерины I была забыта, но она вновь поднялась при вступлении на престол императрицы Елизаветы Петровны, при которой в 1742 году Гендриковы и Ефимовские получили графское достоинство и обширные вотчины.

Случайный виновник возвышения Скавронских Федор умер бездетным, а у старшего его брата Карла остался сын, граф Мартын Карлович, родившийся в 1715 году, следовательно, еще в бедной и низкой доле и сделавшийся потом одним из важнейших русских вельмож, так как при императрице Елизавете Петровне он был генерал-аншефом, обергофмейстером и андреевским кавалером. Государыня особенно благоволила к нему: жаловала ему доходные вотчины и не раз давала в подарок огромные суммы денег. Кроме того, он женился на баронессе Марии Николаевне Строгановой, одной из богатейших невест в тогдашней России. Умер он в 1776 го-

ду, и все громадное его состояние досталось его единственному сыну графу Павлу Мартыновичу.

Молодой Скавронский был уже, по рождению, и богат и знатен. Пеленали его андреевскими лентами с плеча императрицы. Тщательно воспитывали, согласно требованиям того времени, под руководством иностранных наставников, и в блестящем этом юноше, пригодном по выдержке хотя бы и для версальского двора, никто не узнал бы родного внука латыша-крестьянина. Павел Мартынович не отличался, впрочем, особыми умственными дарованиями и имел одну сильную, ничем не удерживаемую страсть к вокальной инструментальной музыке. Он воображал себя необыкновенным певцом, отличным музыкантом и гениальным композитором. Страсть эта с годами развивалась все сильнее и сильнее и, наконец, перешла в забавное чудачество, чуть ли не в помешательство. Находя, что в России недостаточно ценят его музыкальные дарования, молодой Скавронский решился на долгое время покинуть неблагоприятную родину, чтобы приобрести себе как

певцу и музыканту громкую известность за границей. С этой целью он, оставшись двадцати двух лет от роду полным и безотчетным распорядителем отцовского богатства, пустился странствовать по Италии, классической стране гармонии и мелодии. В Италии жажда к славе по музыкальной части усилилась в нем еще более. Проводя время то в Милане, то во Флоренции, то в Венеции, он окружал себя там певцами, певицами и музыкантами, жившими на счет его необыкновенной к ним щедрости. Он беспрестанно сочинял музыкальные пьесы, не удовлетворявшие, однако, самому невзыскательному вкусу. Тратя большие деньги, он ставил на сценах главных итальянских городов оперы своей собственной композиции, оказавшиеся, впрочем, произведениями плохого качества. Несмотря на это, знаменитые певцы и примадонны очень охотно за большие, конечно, деньги и за дорогие подарки разучивали оперы Скавронского и распевали написанные им арии, от которых даже самые неприхотливые слушатели или хохотали во все горло, или затыкали себе уши. Нанятые прислужниками



графа усердные хлопальщики заглушали своими аплодисментами и восторженными криками раздававшиеся в театрах свистки, шиканье и хохот при представлении его опер и во время его концертов. Льстецы и прихлебатели превозносили до небес необыкновенный композиторский талант Скавронского и тем самым еще более подзадоривали и подбивали богача меломана продолжать его аристократические сумасбродства. Лживые, щедро расточаемые ему похвалы он принимал как дань неподдельного восторга и удивления его композиторскому гению, а долетавшие до его слуха свистки, шиканье и насмешки, а также и попадавшие ему случайно на глаза беспощадные газетные отзывы на счет его музыкальных произведений он объяснял слепой завистью к его высокому таланту, в чем, разумеется, поддакивали ему и увивавшиеся около него лица.

Предаваясь все более и более музыкальным наслаждениям, Скавронский довел свою к ним страсть до того, что прислуга не смела разговаривать с ним иначе как речитативом. Выездной лакей-итальянец, приготовившись

по нотам, написанным его господином, приятным сопрано докладывал графу, что карета его сиятельства готова. Метрдотель графа из французов торжественным напевом извещал как его самого, так и его гостей, что стол накрыт. Кучер, вывезенный из России, осведомлялся о приказаниях барина сильным певучим басом, оканчивая свои ответы густой протодьяконскою октавою. На торжественные случаи у графской прислуги имелись и арии, и хоры, так что бывавшие у чудака Скавронского обеда и ужины, казалось, происходили не в роскошном его палаццо, а на оперной сцене. Вдобавок ко всему этому и хозяин отдавал свои приказания прислуге в музыкальной форме, а гости, чтобы угодить ему, вели с ним разговор в виде вокальных импровизаций.

В числе лиц, неразлучно сопутствовавших молодому Скавронскому в его музыкально-артистических странствиях по Италии, был некто Дмитрий Александрович Гурьев, впоследствии министр финансов и граф, человек «одворянившегося при Петре Великом купецкого рода». Он был сметлив, расторопен и

пронырлив и, на счастье свое, не был одарен ни малейшим музыкальным чувством. Он совершенно спокойно, без всякого раздражения, мог переносить и гром литавр, и звуки труб, и взвизги скрипок, и завывание виолончели, и свист флейт, и вой волторн, и рев контрабасов, хотя бы все это, по композиции Скавронского, в высшей степени раздирало уши. То приятно осклабляясь, то выражая на своем лице чувство радости, горя, восторга, безнадежности – смотря по тому, какое ощущение в человеке домогалась произвести музыка Скавронского, – Гурьев, как казалось, с напряженным вниманием выслушивал и длинные концертные пьесы, и бесконечные оперы неудавшегося маэстро. Зато как же и любил его Скавронский, не подозревавший в нем ни малейшего притворства и видевший только такого слушателя, который способен был понимать все красоты превосходной музыки! Привязанности и доверию графа к Гурьеву не было пределов, и подлащивавшийся к Скавронскому при помощи музыки его неразлучный спутник с выгодой для себя управлял всеми делами богача, не знавшего

счета деньгам.

Пространствовав по Италии среди музыкальных походов около пяти лет, Скавронский на двадцать седьмом году возвратился в Петербург. До императрицы Екатерины доходили порой вести об его артистических и композиторских чудачествах за границей, но она не видела в них ничего предосудительного и даже отчасти была довольна тем, что Скавронский во время своего пребывания в чуждых краях не тратил денег, как это делали другие богатые русские бары того времени, на разврат, на картежную игру и на разные грубые проделки, дававшие не очень выгодное понятие иностранцам о нравственном и умственном развитии наших соотечественников. Императрица полагала, что шуточных намеков и легкой насмешки будет вполне достаточно для того, чтобы отучить Скавронского от обуявшей его музыкально-артистической мании.

Когда в 1781 году Скавронский возвратился в Петербург, то богач меломан стал считаться там самым завидным женихом. Маманьки, бабушки и тетушки, наперерыв одна

перед другой, старались выдать за него своих внучек, дочерей и племянниц, но он, влюбленный по-прежнему в музыку, не думал вообще ни о какой невесте. Замыслил, однако, похитить его могущественный в ту пору князь Потемкин, и к услугам князя явился расторопный Дмитрий Александрович, искавший случая подслужиться временщику. Потемкин в это время выдавал старшую свою племянницу по сестре Александру Васильевну Энгельгардт за графа Ксаверия Броницкого, а другой, младшей его племяннице подыскал жениха Гурьев. Он ловко взялся за дело и вскоре устроил свадьбу этой молодой девушки со Скавронским, бывшим под его неотразимым влиянием. Скавронский вдруг изменил музыке и страстно влюбился в красавицу невесту. Он был до такой степени доволен этим браком, что за устройство его подарил своему свату «в знак памяти и дружбы» три тысячи душ крестьян.

Женившись на Екатерине Васильевне, Скавронский вдруг пристрастился к дипломатии. Служебная дорога была перед ним открыта, и он, пожалованный действительным

камергером, был в 1785 году назначен русским посланником в Неаполь, куда и отправился на житье со своей молоденькою женою.

Несмотря на затруднения разного рода, ка-кие в конце прошедшего столетия представлялись при путешествиях по Европе вообще и по Италии – этой классической стране разбойников и бандитов – в особенности, туристы всех наций, а в числе их и русские, очень охотно посещали Италию. Следуя старинной поговорке «*veder Napoli e poi morire*», т. е. «взглянуть на Неаполь, а потом и умереть», так как ничего лучшего уже не увидишь, – они заезжали в этот греческо-итальянский город, чтобы полюбоваться его чудной приморской панорамой и грозным Везувием. Открытые около той поры развалины подземных городов Геркуланума и Помпеи, засыпанных лавою, влекли к Неаполю путешественников, напускавших на себя вид ученых и знатоков древности. Много уже перебывало в Неаполе русских бар-путешественников, но едва ли кто из них наделал там столько шуму и говору, как ожидавшийся туда русский посланник граф Скавронский. Молва об его богатстве, знатности и щедрости

предшествовала ему. Издатели газет, вовсе не знавшие графа, выхваляли его необыкновенный ум, замечательную ученость и разнородные таланты, а местные поэты, не выдавшие еще его супруги, подготавливали в честь ее нежные сонеты, чувствительные мадригалы и торжественные оды, сравнивая ее по красоте и стройности стана с первенствовавшими богинями языческого мира.

Скавронский приехал в Неаполь, как обыкновенно езжали в ту пору за границу русские богачи, старавшиеся прежде всего поразить иностранцев роскошью и причудами. За дорожной его каретой следовал длинный поезд с прислугою, составленною как из крепостных русских, так и из вольнонаемных разных наций. За несколько дней до приезда в Неаполь русского посланника пришел туда отправленный из Петербурга обоз с различными принадлежностями домашней обстановки, которых нельзя было достать за границей. Самый лучший отель в городе был заранее нанят для посланника за огромные деньги, бессрочно, до того времени, пока он по приезде в Неаполь не выберет для постоянного сво-



его житья какой-нибудь роскошный палаццо, отделает его еще лучше, чем он был прежде, и приспособит ко всем потребностям и удобствам. Все главные помещения отеля были уже приготовлены в ожидании прибытия знатного и богатого иностранца, и лишь в некоторые небольшие номера допускались постояльцы, да и то с условием очистить их немедленно по приезде русского графа, если он того потребует.

В числе лиц, проживавших в отеле на таких неприятных и неудобных условиях, была г-жа Лебрен, пользовавшаяся уже в Европе громкой известностью как знаменитая портретистка. Она расположилась в отеле в скромном помещении, со своими мольбертами, красками, палитрами и кистями и не совсем спокойно ожидала той минуты, когда ей придется оставить удобное для нее во всех отношениях помещение и сделать это единственно в угоду русскому синьору. Когда Скавронский приехал в нанятый для него отель, то ему или действительно показалось, или только из пустой прихоти он заявил, что приготовленного помещения недостаточно

для его многочисленной свиты, и потому потребовал, чтобы из отеля выехали все постояльцы. Осведомившись же, что в числе их находится г-жа Лебрен, которую он знал еще по слуху, он отправил к ней мажордома графини с покорнейшею просьбою, чтобы г-жа Лебрен не только не выезжала из отеля, но сделала бы его супруге честь личным знакомством. При этом благовоспитанный Скавронский поручил мажордому извиниться перед г-жой Лебрен за графиню, которая, будучи нездорова и устав чрезвычайно от дороги, лишена была удовольствия сделать первый визит г-же Лебрен. После такого внимания и любезного приглашения, повторенного вслед за тем и самим графом, умная и образованная художница сделалась постоянной гостьей Скавронских и не могла нахвалиться их радушием и самым утонченным вниманием.

В записках своих, изданных под заглавием «Souvenirs», г-жа Лебрен оставила несколько заметок о супружеской чете, с которой она вскоре после первого визита свела самое близкое знакомство. На свидетельство г-жи Лебрен, отличавшейся таким художествен-

ным вкусом и внимательно присматривавшейся к каждой черте и к каждому оттенку лица, положиться, конечно, можно, а между тем, по словам г-жи Лебрен, графиня Скавронская была «прекрасна, как ангел», и одарена была от природы «всеми прелестями чарующей красоты». Другая дама, баронесса Оберкирх, в своих «Записках» заметила: «Скавронская идеально хороша; ни одна женщина не может быть прекраснее ее», а граф Сегюр пишет, что головка Скавронской могла служить образцом для головки амура.

Говоря далее о Скавронской, г-жа Лебрен пишет, что она была чрезвычайно добра и снисходительна, но характер ее и образ ее жизни отличались замечательными странностями. Она никогда и никуда не выезжала без самой крайней необходимости, и ее не выманивали из палатцо даже очаровательные прогулки на берегу моря при томном сиянии месяца. Она отличалась какою-то загадочною ленью, всякое движение, несмотря на ее молодость и легкость походки, было для нее обременительно. Самым большим для нее наслаждением было лежать на мягком канапе,

закрывшись, несмотря ни на какую жару, богатой собольей шубкою. Когда около нее не было никого посторонних, в ногах у нее сидела привезенная в Неаполь из России старушка-няня и принималась рассказывать ей сказки, разумеется повторяя одно и то же по сотне раз. Молодая ленивица чувствовала отвращение к нарядам, и г-жа Лебрен, так много обращавшая на них внимание в качестве портретистки, не без удивления замечала, что Скавронская никогда не носила корсета. Между тем свекровь ее беспрестанно снабжала ее выписываемыми из Парижа дорогими и изящными изделиями, выходившими из мастерской мадемуазель Вертен, знаменитой модистки, одевавшей первую тогдашнюю щеголиху в Европе, королеву Марию Антуанетту. Несколько больших комнат в отеле, занятом Скавронскими, было загромождено тюками и ящиками с нарядами, привезенными из Парижа и отличавшимися тою утонченностью вкуса, какая тогда господствовала во Франции по части дамских мод. Но молоденькая женщина не только не выражала свойственной ее летам торопливости посмотреть

поскорее на привезенные ей посылки, но даже вовсе не любопытствовала взглянуть на них, и потому заделанные тюки и ящики с нарядами оставались невскрытыми. Когда же камер-фрау предлагала ей выбрать и надеть какую-нибудь щегольскую обновку, которая должна была так идти ей, то Скавронская как будто с удивлением спрашивала: «Зачем? Для кого?» Письма своей свекрови, внушавшей ей, что жене русского посланника при одном из самых блестящих дворов в Европе, и притом такой молодой и хорошенькой женщине, необходимо одеваться роскошно, по последней моде, она прочитывала с грустною усмешкою и вовсе не думала следовать советам и внушениям, даваемым ей со стороны этой великосветской барыни.

По всему было заметно, что красавица Скавронская как будто тяготилась окружавшею ее пышностью и своим видным положением в обществе. Постоянно задумчивая, она, казалось, предпочла бы жить нелюдимкой и даже затворницей. Ни на кого, ни на что она не обращала внимания. На нежности и ласки своего мужа, влюбленного в нее до безумия,

она отвечала холодно и неохотно. Скавронский же по характеру и по образу жизни представлял совершенную противоположность жене. Он любил общество и был там приятным и веселым собеседником, там он искал для себя развлечения от своей семейной жизни, и так как он занимал в Неаполе высокий дипломатический пост, то и должен был жить открыто и роскошно, сообразно своему званию. Вследствие этого Скавронский часто давал в своем палаццо и роскошные обеды, и великолепные балы, но эти последние чрезвычайно редко украшались присутствием прелестной хозяйки, которая не являлась на них под предлогом внезапной болезни. Для лиц, не знавших близко Скавронских, жизнь графини казалась странной, и отчуждение ее от света объяснили страшною ревностью ее мужа, который, следуя варварскому обычаю «московитов», старался скрывать красавицу жену от посторонних взглядов. На деле, однако, было вовсе не то. Скавронский не только не препятствовал ей являться в свете, но, напротив, видя ее постоянно печальною и задумчивою, желал, чтобы

она полюбила светские развлечения и блистала в обществе своею чарующею красотою.

Кроме великолепных нарядов, напрасно присылаемых Скавронской, у нее было множество драгоценных уборов. Однажды она вздумала показать их г-же Лебрен, которая, хотя и много уже насмотрелась на подобные вещи, но тем не менее была изумлена при виде сокровищ, принадлежавших добровольной отшельнице. Скавронская между прочим показала ей бриллианты необыкновенной величины и самой чистой воды, сказав, что они были подарком дяди ее, князя Потемкина. Никто, однако, не видал на ней этих драгоценных камней; она не выставляла их напоказ даже при происходивших при королевском дворе торжествах и празднествах, на которые являлась неохотно только вследствие просьбы и убеждений мужа.

Рождение графини Екатерины Васильевны Скавронской в небогатой и многочисленной семье смоленских помещиков немецкого происхождения, сперва ополячившихся, а потом обрусевших, вовсе не обещало ей блестящей будущности, и только необыкновенное воз-

вышение ее родного дяди, Григория Александровича Потемкина, изменило предстоявшую ей скромную участь. Сделавшись могущественным вельможей и самым доверенным другом императрицы Потемкин не забыл своей родни и оказывал особенное расположение дочерям своей старшей сестры Марфы Александровны, бывшей замужем за подполковником Василием Александровичем Энгельгардтом. Дочери ее, простенькие барышни, были в 1776 году привезены прямо ко двору Екатерины. В это время Кате шел одиннадцатый год. Робко и недоверчиво смотрела деревенская дикарка на новую пышную обстановку и не скоро свыклась с тем положением, в каком так неожиданно очутилась. 10 июня 1781 года она была пожалована во фрейлины, а в ноябре того же года вышла замуж за Скавронского.

Брак ее был отпразднован торжественно. На свадьбу были приглашены только те дамы, которые были приглашены в Эрмитаж, то есть составляли самый близкий к императрице кружок. После свадьбы был блестящий бал в кавалергардской зале и ужин в присут-



ствии императрицы. Жених приехал под венец в карете, стоившей 10 000 рублей, украшенной снаружи стразами. На другой день после свадьбы начались пиры в доме Потемкина, нынешнем Аничковском дворце. Много толков в петербургском обществе возбудил этот брак, и все они сводились к тому общему заключению, что молоденькая фрейлина вышла замуж поневоле, единственно в угоду своему дяде.

Года через три после своего замужества Скавронская вошла однажды в уборную Потемкина, жившего в Зимнем дворце под комнатами, занимаемыми государынею. В уборной на столе она увидела портрет императрицы, осыпанный бриллиантами. Портрет этот носил постоянно Потемкин в петлице своего кафтана. Взяв в руки портрет и стоя перед зеркалом, Скавронская машинально пришила его к корсажу своего платья.

– Иди, Катя, наверх к императрице и поблаговари ее! – вдруг крикнул лежавший на диване Потемкин.

Она с изумлением посмотрела на дядю и торопливо принялась отшивать портрет

государыни.

– Нет, нет! Не снимай его, а так с ним и ступай! – громче прежнего крикнул Потемкин и, лениво приподнявшись с дивана, взял лежавшие перед ним карандаш и лоскуток бумаги, на котором написал несколько слов. – Ступай с этой записочкой к государыне и поблагодари ее за то, что она пожаловала тебя в статс-дамы.

Приказание это было высказано так настойчиво, что растерявшаяся Катя должна была повиноваться ему. С недовольным лицом, с нахмуренными бровями прочла государыня записку Потемкина, поданную ей смущенною Скавронскою. Несмотря на свое искусство притворяться и казаться любезною, Екатерина не могла на этот раз скрыть своего сильного недовольствия. Преодолев, однако, его, она написала ответ Потемкину, уведомляя князя, что исполнила его желание, сделав его двадцатилетнюю племянницу статс-дамою.

В ту пору случаи пожалования этого высокого звания вообще были чрезвычайно редки, а для такой молоденькой женщины звание статс-дамы оказывалось и небывалым

еще отличием. Все заговорили об этом, завистливо посматривая на новую счастливицу. Начались толки и пересуды, и Скавронская, не терпевшая ни интриг, ни сплетен, была очень рада оставить двор императрицы, когда вскоре после этого муж ее получил место посланника в Неаполь.

# VI

Горделиво смотрелся в тихие голубые воды залива стоявший на якоре в виду Неаполя военный корвет «Pellegrino». Поднятый на его корме красный, наподобие церковной хоругви, с белым крестом флаг показывал, что корвет этот принадлежал к составу военно-морских сил державного Мальтийского ордена. Окончив упорную борьбу с турками, длившуюся с лишком три столетия, мальтийские рыцари продолжали содержать в Средиземном море довольно значительный флот с целью уничтожения магометан-пиратов, гнездившихся в Алжире и Тунисе и разбойничавших как в этом море, так и в водах греческого архипелага. Ордену в ту пору не было уже надобности вести правильную морскую войну с турками, после истребления их флота при Чесме графом Алексеем Орловым, тем более что на северном побережье Черного моря стала возникать грозная для Турции сила со стороны России. Храня, однако, свои древние рыцарские обеты – бороться с врагами св. креста и защищать слабых, иоанниты снаряжали

свои военные суда для крейсерства, чтобы освободить из неволи христиан, захваченных в плен пиратами, охранять от нападений со стороны этих последних христианских торговцев и вообще держать в страхе суда, появившиеся в водах Средиземного моря с изображением полумесяца на флаге.

Давно уже была пора корвету «Pellegrino» поставить паруса и отправиться в плавание, но проходил день за днем, а командир корвета не думал вовсе готовиться к уходу с неаполитанского рейда. Экипаж корвета не мог надивиться такой странной медлительности своего начальника, который был известен как деятельный и отважный моряк, предпочитавший всегда зыбь моря неподвижности суши. Все замечали, что молодой командир вдруг изменился, что он стал теперь совсем не таким, каким был прежде. Бывало, он нетерпеливо ожидал той минуты, когда подует попутный ветер и быстро, на всех парусах, помчит в море его ходкое судно. Теперь уже несколько раз поднимался самый благоприятный ветер, а между тем командир корвета, скрестив на груди руки, стоял неподвижно на

палубе и задумчиво смотрел в беспредельную даль моря, как будто не решаясь расстаться с приманившим его берегом. Напрасно шкипер заговаривал с ним об удобствах плавания при наступившей погоде и даже почтительно докладывал о необходимости прекратить поскорее такую продолжительную стоянку, напоминая, что корвет «Pellegrino» послан по повелению великого магистра не для того, чтобы стоять где-нибудь праздну на якоре, а для того, чтобы безостановочно крейсировать в открытом море. С рассеянным видом слушал командир и доклады, и рассуждения своего подчиненного, да и вообще не обращал никакого внимания на говор моряков-сослуживцев, роптавших на бездеятельность и на бесполезную трату времени. Не отвечая ни полслова на делаемые ему представления, он приказывал подавать себе шлюпку и съезжал на берег. Нашлись, однако, любопытные из числа лиц, составлявших экипаж корвета. Они постарались высмотреть, куда отправляется их начальник по приезде на берег. Оказалось, что каждый раз он не ходил никуда, кроме палаццо, в котором жил русский по-

сланник, граф Скавронский. Заговорили об этом на корвете, но так как около той поры Россия старалась приобрести для своих военных кораблей постоянную стоянку на Средиземном море и так как петербургский кабинет вел перед этим переговоры с мадридским кабинетом об уступке с означенной целью России острова Минорки, то частые посещения русского посланника командиром мальтийского корвета объясняли или каким-либо участием в этих переговорах, или особым данным от великого магистра поручением относительно этого дела, и находили вероятным, что русские намерены выговорить право стоянки для своих военных судов в одной из гаваней острова Мальты.

Действительно, молодой командир корвета Джулио Литта во время своих ежедневных побывок в Неаполе не показывался нигде, кроме как у Скавронских, но он ходил туда не для каких-нибудь дипломатических переговоров, но совсем по другому делу. Красавица Скавронская влекла его к себе и заставляла моряка-рыцаря забывать любимую им стихию. Познакомившись со Скавронским как с

официальным лицом и представленный его жене, Литта был очарован ее «ангельскою красотою». Под этим впечатлением он забыл о своих священных рыцарских обетах: о службе державному ордену, о крейсерстве для преследования пиратов; забыл и о корвете, бывшем под его начальством. Он не заботился и не думал теперь ни о чем, найдя в доме Скавронского такую пристань, которую ему никогда и ни за что не хотелось бы покинуть.

Граф Джулио Райнеро Литта, которому в это время было лет двадцать восемь, мог считаться красавцем в полном значении этого слова. Он был очень высокого роста, стройность стана соединялась у него с величавостью осанки. Деятельность моряка, приучившая его к трудам и опасностям, закалила его цветущее здоровье. Тонкие и правильные черты итальянского типа носили отпечаток мужества, большие черные то блестящие, то задумчивые глаза и приятная улыбка придавали этому молодому человеку чрезвычайную привлекательность, и, по всей вероятности, самый разборчивый художник не отка-



зался бы взять его за образец красоты. Военный наряд мальтийского рыцаря, или кавалера, еще более оттенял его замечательную наружность. Литта носил красный кафтан французского покроя с белым мальтийским крестом на груди, повешенным на широкой черной ленте. Белое батистовое жабо с тонкими кружевами и легкая пудра на голове резко выделяли прекрасные черты его свежего загорелого лица. Литта чрезвычайно полюбился Скавронскому и после непродолжительного знакомства сделался постоянным гостем в его доме, а вместе с тем и самым приятным собеседником его жены, которая увидела в молодом командире такую привлекательную личность, какую ей не приводилось встречать прежде.

Беседы моряка с посланницею не отличались, впрочем, ни живостью, ни игривостью. Скавронская не имела той бойкости и находчивости, которые придавали особый оттенок разговору модных дам прошлого столетия, кокетничавших с мужчинами. Литта хотя и был человек умный и тонкий, но вел себя слишком сдержанно, не пускаясь в любезности.

Молодой моряк рассказывал графине о далеких странствиях, и она любила подолгу слушать эти рассказы, и ни один самый чуткий и зоркий наблюдатель не уловил бы в их беседе намека на их сердечное, взаимное друг к другу влечение. Скавронская, освоившись мало-помалу с обычным посетителем, не стеснялась уже его присутствием в своей привычке – лежать на канапе, прикрывшись собольею шубкою. Часто, залюбовавшись ею, молча сидел около нее моряк-рыцарь, не спуская с нее глаз, а она ласково, без кокетства поглядывала на него. Такая близость знакомства между Скавронской и Литтой согласовалась вполне с нравами тогдашнего высшего итальянского общества, среди которого каждая дама необходимо должна была иметь ухаживавшего за ней мужчину: так называвшегося «cicisbeo» или «cavaliere servente».

День за днем откладывал командир корвета свой уход из Неаполя, посылая на Мальту донесения, которые по их запутанности и неопределенности ставили тамошние власти в тупик относительно причин промедления корвета «Pellegrino» на неаполитанском рей-

де. Крепко не хотелось Литте отплыть оттуда. Наконец он увидел, что оставаться там более не было никакой возможности. Поэтому, отдав экипажу приказание приготовиться на завтра в плавание, он отправился провести последний вечер к обворожившей его красавице. Литта застал ее покоившеюся, по обыкновению, на канаве.

– Я пришел проститься с вами, синьора, – сказал он опечаленным голосом. – Завтра рано утром мой корвет уходит в море...

– Куда же вы направляетесь? – встрепенувшись, спросила Скавронская.

– К берегу Африки, я и то уже слишком долго зажился в Неаполе... Мне давно следовало бы уйти отсюда, – грустно проговорил моряк.

– И напрасно не сделали этого, если вам было нужно. Вы проскучали здесь, а между тем вами будут недовольны на Мальте, – наставительно сказала Скавронская, стараясь придать своему голосу выражение равнодушия.

Литта тяжело вздохнул.

– Отчего вы так вздыхаете? – скорее с доб-

родушной насмешкой, нежели с участием, спросила молодая женщина. – Если вам было так хорошо здесь, то вы можете опять прийти сюда и даже поселиться здесь навсегда.

Литта не отвечал ничего и задумчиво смотрел на свою собеседницу.

– Скажите мне, отчего вы не женитесь?.. – торопливо спросила она Литту.

– Как рыцарь Мальтийского ордена, я дал обет безбрачия, – не без некоторой торжественности проговорил Литта.

– Значит, вы – монах?.. – весело рассмеявшись, перебила Скавронская.

– Почти что монах... – прошептал Литта.

– Отчего же вам вздумалось так стеснять свою жизнь, но и ваши сердечные чувства? Разве вы не можете полюбить какую-нибудь девушку и пожелать, чтобы она была вашей женой? В силах ли вы поручиться, что с вами никогда не случится этого?..

– Прежде чем я дал мой рыцарский обет, – заговорил Литта, – я долго думал и размышлял и решил вступить в орден только после того, когда убедился, что женщины...

– Что женщины?.. – с живостью возразила

Скавронская, приподнимаясь на локоть, и при этом движении шубка, скользя с ее плеча, упала на ковер. Литта бросился поднимать шубку, чтобы накинуть ее на синьору.

В это время в длинной анфиладе комнат слышались рулады, напеваемые слабым, прерывающимся голосом.

– Мой муж вернулся, – проговорила Скавронская, – он под впечатлением концерта напевает что-то, и, Боже мой, как он страшно фальшивит!.. К нему, должно быть, возвращается его прежняя страсть. Вероятно, он забыл кроткие внушения государыни, что музыка – не дело дипломата.

Скавронский, продолжая напевать, вошел к жене и, дружески поздоровавшись с Литтою, нежно поцеловал свою Катю. Она пристально взглянула на него, и каким-то жалким существом представился ей ее жалкий, хилый муж с бледным, исхудалым лицом; он показался ей мертвецом, ожидающим погребения. Она быстро вскинула свои глаза на гостя – перед ней стоял красавец в полном цвете молодых сил.

Литта сообщил Скавронскому, что завтра

уходит с рейда в море, и посланник в самых любезных выражениях изъявил сожаление, что лишается такого приятного для него гостя, и затем с жаром дилетанта принялся рассказывать о концерте, происходившем в присутствии королевской фамилии, о расположении духа, в каком, по-видимому, находился король, о туалете королевы и о встрече с множеством своих знакомых. Рассеянно слушала Скавронская рассказы мужа, который, впрочем, обращался с ними преимущественно к гостю. Хотя и Литту не занимала нисколько светская болтовня хозяина, но он делал вид, что слушает графа с особым вниманием. Наконец Скавронский утомился и призамолк, не находя поддержки своему разговору.

– А какие известия получены из Франции? – спросила его жена.

– Очень неутешительные, – заговорил посланник, – французы просто сходят с ума и хотят ниспровергнуть во всей Европе и религию, и престолы. Только общий союз всех государей может обуздать их. Надобно полагать, что революционное движение отзовется и в Италии... Положение дел ужасно...

– Какая печальная судьба предстоит нашему ордену! – сказал сильно взволнованный Литта. – Он как религиозное и аристократическое учреждение идет прямо в разрез тем понятиям, которые теперь так успешно распространяет французская революция. Мы слишком слабы, чтобы могли противостоять ее напору. Неужели не найдется в Европе ни одного могущественного государства, которое приняло бы нас под свою защиту?

– Когда над вами грянет гроза, обратитесь к России: она настолько сильна, что в состоянии будет защитить вас, – сказала Скавронская.

Литта с изумлением взглянул на нее.

– Обратиться к России?.. – спросил он. – Но разве вы, синьора, не знаете, что между ею и нашим орденом существует целая бездна, что бездна эта – различие религий. Россия – представительница восточной церкви, а мы, мальтийские рыцари, – поборники католицизма, со всеми его средневековыми преданиями. Притом всем очень хорошо известно, что императрица Екатерина – отъявленная почитательница французских энциклопеди-

стов, которых следует считать главными виновниками всех нынешних смут и потрясений...

– О, что касается этого, – заметил успокоительно посланник, – то образ мыслей государыни не может быть препятствием тому, чтобы Россия оказала помощь вашему ордену как религиозному и аристократическому учреждению. Со времени беспокойств во Франции императрица заметно изменила свои прежние взгляды, и из получаемых мною из России сведений видно, что там теперь началось сильное преследование всего, что хоть несколько отзывается революционным духом.

– Я сказала то, что мне вдруг, я сама не знаю почему, мелькнуло в голове, – засмеявшись и обращаясь к Литте, заговорила Скавронская, – я, впрочем, в политические вопросы вовсе не мешаюсь, это по части моего мужа...

Разговор между хозяином и гостем перешел на эти дела. Оба они были того мнения, что происходящие во Франции беспорядки грозили бурей разразиться над всею Евро-



пою, если со стороны всех европейских кабинетов не будут приняты безотлагательно решительные меры для восстановления во Франции законного правительства. Хозяйка полудремля слушала эти, как казалось, скучные для нее разговоры. Наступило время проститься с нею Литте; он почтительно поцеловал ее руку, а она совершенно равнодушно, как будто только из вежливости, пожелала ему благополучного плавания, не промолвив ни слова о возвращении его в Неаполь.

На другой день корвет нес Литту к берегам Африки, и он бесследно исчез на долгое время.

Между тем здоровье Скавронского расстраивалось все более и более: у него открылась чахотка, и 23 ноября 1793 года он умер в Неаполе. Его молоденькая вдова, пробыв после того еще некоторое время за границею, возвратилась в Петербург, где была встречена чрезвычайно ласково императрицею Екатериною.

## VII

Вступив на престол, император Павел восстановил в так называвшихся тогда «присоединенных от Польши областях» существовавшие там прежде порядки по внутреннему управлению. В то же время в Петербурге обсуждались и некоторые финансовые вопросы, относившиеся к этому краю, и в числе их был вопрос об «острожской ординации», доходы с которой при волнениях, происходивших в Польше, давно уже не поступали в казну Мальтийского ордена. Император, сочувствовавший ордену, выразил желание порешить это дело в пользу ордена, и когда узнали об этом на Мальте, то для изъявления государю благодарности был отправлен с Мальты в Петербург бальи, граф Джулио Литта. Ему же предоставлено было от великого магистра право заключить с Россией конвенцию о восстановлении великого приорства в бывших польских областях и вместе с тем как делегату от ордена принять это приорство под свое ведение.

Посол великого магистра был встречен в

Петербурге с большой торжественностью. До церемониального своего въезда граф Литта прожил в Гатчине, откуда и выехал парадно в столицу. Поезд его состоял из 36 обыкновенных и 4 придворных карет. В одной из них сидел балли с сенатором князем Юсуповым и обер-церемониймейстером Валуевым.

Приехав в Петербург, Литта возобновил свое прежнее знакомство с графиней Скавронской. Он не видел ее четыре года, а в это время вдова-красавица похорошела еще более. Литта не нашел в ней никаких следов прежней лени и утомления. Из нелюдимки она сделалась обворожительной светской женщиною, для которой жизнь в шумном обществе казалась главной потребностью существования. Толпа вздыхавших поклонников окружала ее, и как ни силились злые языки оговорить молоденькую вдовушку, но не могли приискать никакого повода к сплетням и пересудам на ее счет. Она была безупречна, и о ней говорили только как о женщине, сердце которой не было доступно никакому нежному чувству.

Выйдя замуж за Скавронского на семна-

дцатом году от роду единственно в угоду своему дяде, князю Таврическому, и не чувствуя ни любви и даже ни малейшего расположения к своему жениху, Екатерина Васильевна безропотно покорилась своей участи. Невесело жилось ей с чудачком супругом, и ею постепенно овладело то равнодушие ко всему окружающему, которое обыкновенно является у женщины, недовольной замужеством и в то же время не имеющей настолько решимости, чтобы порвать или, по крайней мере, хоть несколько ослабить спутывающие ее супружеские узы. Уединенная и однообразная жизнь, чуждая всяких развлечений, казалась ей лучшим средством для того, чтобы избежать всяких искушений, тревог и волнений. Познакомившись в Неаполе с графом Литтой, она не могла не видеть той резкой разницы, какая была между ее мужем и молодым мальтийским рыцарем не в пользу первого, но она сдерживала свои сердечные порывы, и Литта не догадывался, что он был предметом любви молодой русской синьоры. Оставшись после мужа на свободе, Скавронская почувствовала полную самостоятельность, и прежняя за-

творническая жизнь показалась ей невыносимо скучною. Развлечения и удовольствия, приемы гостей, выезды на балы и к знакомым сделались для нее теперь необходимою. Она как будто переродилась, и по приезде в Петербург Литта нашел ее совсем уже не той, какую знал ее в Неаполе.

– Вы, граф, так и остались монахом? – спросила Скавронская Литту при первой с ним встрече, когда он приехал к ней с визитом. Несмотря на сдержанность вдовушки, было, однако, заметно, что она очень обрадовалась неожиданному свиданию с прежним знакомцем.

– Вы не ошибаетесь, – отвечал бальи. – Но вы, графиня, кажется, – уже не та затворница, какую были прежде?

– Да, я изменилась и нахожу, что очень хорошо сделала. Прежде я умирала от тоски, а теперь убедилась, что жизнь не так печальна, как она представлялась мне в былое время... А вы приехали к нам в Петербург надолго? – спросила она, не без волнения ожидая ответа на этот вопрос.

– Срок моего пребывания в Петербурге бу-

дет зависеть от хода дела или, вернее сказать, от воли императора... Вы были, графиня, настоящей пророчицею: помните, как в последнее наше свидание вы вдруг высказали мысль, чтобы наш орден обратился к покровительству России. Признаюсь, я с изумлением услышал такое предложение: оно тогда казалось мне несбыточным, невероятным, а между тем обстоятельства сложились так, что сам же я в орденском капитуле указал на Россию как на единственную нашу заступницу. Извините, что я у вас похитил эту мысль. Недаром же у всех народов женщины считаются одаренными духом прорицания. Если наш славный рыцарский орден получит от России поддержку, — которая, несомненно, предотвратит удары, грозящие ему со стороны Франции, — то этим он будет обязан собственно вам. Не напрасно, значит, рыцарство питало безграничное уважение к женщинам: теперь одной из них, быть может, придется спасти от гибели самый знаменитый рыцарский орден, — с воодушевлением проговорил Литта.

— Вы все такой же горячий приверженец

вашего ордена, как были и прежде! Надобно полагать, что любовь не затронула еще вашего сердца и что данный вами обет безбрачия несколько не тяготит вас... А знаете, граф, что я всякий раз смеюсь от души, когда вспомню об этом странном обете... Какой же вы – монах?.. – и она засмеялась веселым и звонким смехом.

– Я слишком свято чту мои рыцарские обеты, чтобы когда-нибудь мог отречься от них. Я убежден, что никакие блага мира не заставят меня сойти с пути, по которому я пошел с твердою верою в помощь Бога и в покровительство его великого угодника святого Иоанна Крестителя, – проговорил с суровым благоговением Литта.

– Вас, я полагаю, никто и не думает совращать с избранного вами пути... Идите, идите по нем! – спокойно-шутливо перебила Скавронская.

– Всю мою жизнь, все мои силы, все мои труды я отдавал и буду отдавать на пользу нашего рыцарского братства... Я был бы изменником, я был бы не достоин моего сана, если бы хоть сколько-нибудь поколебался испол-

нить мою священную обязанность.

Литта произносил эти слова с постепенно усиливающимся жаром, между тем как молодая женщина закусывала розовые губки, стараясь удержаться от смеха.

– Вы сказали, что женщины одарены духом пророчества, так я же напрогочу вам: вы когда-нибудь влюбитесь и женитесь...

– Этого никогда не может быть! – твердым голосом возразил Литта. – Святость моих рыцарских обетов не допустит меня до этого. Я никогда не забуду присяги, которую я принес во имя всемогущего Бога!.. Притом я уже прожил годы кипучей юности, выдержал немало искушений и еще более убедился, что женщины...

– Ах, кстати. Помните ли вы, как в последний вечер, проведенный вами со мною в Неаполе, вы начали говорить об этом предмете... – перебила его Скавронская, смотря пытливо на своего собеседника.

– Я был бы самым неблагодарным человеком в мире, если бы забыл хоть одну минуту, которую провел с вами, – сказал Литта, и в голосе его зазвучала та притворная сентимен-



гальность, какую отличались любезники прошлого века.

– Стыдно, стыдно монаху говорить такие нежности! – заметила с веселою строгостью Скавронская, наставительно покачивая своею напудренною головкою. – Доскажите теперь просто, что вы тогда хотели сказать.

– Я хотел сказать, – заминаясь начал Литта, – что женщины любят властвовать над мужчинами и что я никогда не хотел бы быть рабом одной из них.

– Вот как!.. По-вашему, значит, нужно, чтобы вы, мужчины, властвовали над нами? Нет, господа, прошли те счастливые для вас времена, когда вы могли считать себя нашими владыками...

– Я не желаю властвовать над женщиною, а потому предпочел не ставить ее в зависимость от меня, да и самому не быть в зависимости от нее...

– Это очень похвально, но извините меня за мою откровенность, если я скажу вам, сеньор Джулио, что вы неискренни...

Хотя слова эти были сказаны с чрезвычайною мягкостью, но бальи заметно смутился.

– Как рыцарь, – продолжала Скавронская, – вы, без сомнения, и прямодушны, и откровенны; как монах, вы, конечно, смиренны, а пожалуй, даже и лицемерны; а как дипломат, приехавший с затаенными целями, вы, наверное, скрытны и коварны. Вы представляете из себя такого ненавистника женщин, а между тем...

– Что вы хотите сказать?.. – перебил как бы встревожившийся Литта.

– Я хочу сказать, что помощь женщин будет вам нужна для успешного окончания того дела, по которому вы сюда приехали...

– Странный, хотя, сказать по правде, и не новый путь! – насмешливо заметил Литта, пожав плечами. – Неужели же и у вас в России женщины имеют такое влияние на политические дела, что нужно заискивать их посредничества?

– Доставьте им случай хоть чем-нибудь отблагодарить рыцарство за то уважение, какое оно постоянно и всюду оказывало им, – улыбаясь, сказала Скавронская.

– Но император, как слышно, настолько суров, настолько недоступен, что едва ли уча-

стие женщины может иметь влияние в том важном деле, по которому я сюда приехал. Притом для знаменитого рыцарского ордена, который в течение семи веков поддерживал свое существование геройскими подвигами...

– Такой способ поддержки будет неуместен, неприличен... Вы, вероятно, это хотите сказать? – спросила Скавронская.

Литта слегка и печально кивнул головою с знак согласия.

– В таком случае откажитесь от исполнения той задачи, для которой вы сюда приехали. С мужчинами, окружающими императора, дело вести слишком трудно. Ростопчина, который вам будет нужен едва ли не прежде всех, вы с трудом увидите; до него нет доступа иностранным посланникам, да притом Ростопчин не слишком много разговорится с вами: он любит отмалчиваться из боязни, чтобы не сказать что-нибудь некстати... Кутайсов не примет участия в делах вашего ордена: он в подобные дела не вмешивается, они не по его части. Князь Куракин? – но он слишком любит Францию и не станет побуждать государя к раздору с нею. Затем все другие

приближенные к императору лица соприкасаются только или с военными делами, или с делами по внутреннему управлению государства и не позволяют себе мешаться во внешнюю политику. Да и сказать по правде, едва ли вы найдете в нашем обществе таких лиц, которые стали бы сочувствовать бедственному положению вашего ордена; у нас рыцарства никогда не существовало, и о значении его едва ли кто из русских имеет какое-нибудь понятие. Рыцарством увлекутся разве женщины, да и то потому только, что они познакомились с ним из французских романов...

– Но я буду иметь возможность объясняться непосредственно с императором. Он чрезвычайно близко принимает к сердцу настоящее положение нашего ордена, и я думаю, что его благосклонного внимания будет вполне достаточно для того, чтобы Россия приняла самое деятельное участие в нашей судьбе.

– Это совершенно верно, но дело в том, что все предположения, высказанные вами государю, будут переданы для рассмотрения или для исполнения кому-нибудь из лиц, пользу-

ющих его доверенностью, а они могут дать подготовленному вами плану такое направление, какого вы вовсе не ожидаете, и без особого на них влияния вы ни в чем не успеете. Положим, что государь поручит ваше дело князю Безбородко, но кто же не знает, что князь бывает в руках той женщины, которая ему нравится? Кутайсов находится ныне под сильным влиянием одной госпожи, граф Марков – тоже. Наконец, при дворе есть еще некоторые особы женского пола, которые сами по себе имеют силу. Притом я должна предупредить вас, что, если вы будете вести переговоры прямо с государем, удостаиваться частых его бесед и если при этом его величество будет оказывать вам внимание и доверие, то против вас начнутся происки и интриги, и тогда, при изменчивом характере государя, вам не удастся довести благополучно до конца ваше дело.

– Итак, по вашему мнению, мне необходимо искать при здешнем дворе поддержки со стороны женщин?.. – спросил, запинаясь, Литта.

– Да, по крайней мере, мне так думается.

– Но скажите, которая же из них может быть нам полезна?.. Я спрашиваю об этом только из любопытства, – поспешил добавить Литта.

– Более всех госпожа Шевалье, – спокойно отвечала Скавронская.

– Госпожа Шевалье?.. Кто ж она?..

– Актриса здешнего французского театра, премиленькая особа, находящаяся ныне под покровительством Кутайсова... Она может сделать многое...

– О несчастный наш орден!.. – с отчаянием вскрикнул Литта, хватаясь за голову. – Неужели нам суждено дойти до такого позора!..

Он хотел сказать еще что-то, обращаясь к Скавронской, но вошедший в это время лакей доложил ей о приезде графа Ивана Павловича Кутайсова.

## VIII

Приезд графа Литты в Петербург возбудил много толков в высшем столичном обществе. Наружность его, бросающаяся в глаза мужественною красотою и аристократическою представительностию, его звание и монаха и рыцаря и самая цель его поездки заставляли говорить о нем в тогдашних петербургских гостиных, где до тех пор о мальтийских рыцарях не было еще и помину и где Мальтийский орден назывался орденом святой Мальты или «Ивановским». Даже и до сих пор официальные сведения о сношениях России с Мальтою представляются крайне сбивчивыми. Известно только, что сношения эти завел впервые Петр Великий, отправивший со своею грамотою к великому магистру Бориса Петровича Шереметева, который первый из русских носил знаки Мальтийского ордена. В царствование императрицы Елизаветы Петровны при дворе ее, неизвестно, впрочем, по какому именно поводу, явился весьма скромно посланник великого магистра, маркиз Сакрамоза, и в наших архивах сохранились о нем сле-

дующие сведения: «ея императорское величество изволила апробовать доклад канцлера графа Воронцова о выдаче маркизу Сакрамозе фунта лучшего ревеня, дабы он мог отвезти сие в подарок своему гранд-метру». Императрица Екатерина II была расположена вообще к Мальтийскому ордену и лично к его вождю, престарелому князю Рогану. Она отправила на Мальту шесть молодых русских для приобретения там навыков в морском деле и, кроме того, имела политические виды на орден. Императрица заключила союз против турок с великим магистром, но граф Шуазель, министр иностранных дел короля Людовика XV, был крайне недоволен таким сближением ордена с Россией и грозил Рогану, что если союз этот продолжится, то французское правительство отнимет у ордена все его имения, находящиеся во Франции. Ввиду этой угрозы Роган вынужден был отказаться от союза с Россией, но тем не менее между ним и императрицей Екатериной сохранились самые приятные отношения. Вследствие их Роган переслал ей все планы и карты, которые были составлены на Мальте для военной экспедиции рыцарей



на Восток, а также сообщил ей те секретные инструкции, которые должны были быть даны главному предводителю рыцарей для руководства во время этой экспедиции. Желая поддерживать постоянные сношения с орденом, императрица назначила на Мальту своим поверенным в делах какого-то итальянского маркиза Кабалькабо, но так как денежные средства ордена не позволяли ему иметь при пышном дворе Екатерины такого представителя, который поддерживал бы там блеском своей обстановки достоинство ордена, то после смерти маркиза Кабалькабо императрица, чтобы не ставить орден в затруднительное положение, не назначала уже дипломатического представителя в Ла-Валлетту, столицу великих магистров.

На третий день после своего церемониального въезда в Петербург Литта имел торжественную аудиенцию, на которую он и его спутники отправились в Зимний дворец в парадных придворных экипажах, проезжая по улицам вдоль расставленных по обеим сторонам гвардейских полков. Так как, по уставам Мальтийского ордена, владетельные государи

и члены их семейств обоюго пола могли вступать, несмотря на вероисповедание, в орден без принятия рыцарских обетов, получая так называемые «кресты благочестия» (di devozione), то Литта вез с собою во дворец орденские знаки для императора, его супруги и их детей.

Облаченный в порфиру, с короною на голове, государь принял Литту согласно тогдашнему церемониалу, установленному для торжественных аудиенций, даваемых иностранным послам. На ступенях трона стояли представители высшего православного духовенства, в числе которых был митрополит Гавриил и архиепископ Евгений Булгарис. Литту сопровождали: секретарь посольства и три кавалера, которые несли на подушках из золотой парчи часть десницы Иоанна Крестителя – мощи, хранившиеся в Ла-Валетте, знаки Мальтийского ордена и кольчугу, приготовленную на Мальте для императора. Вступив в залу и сделав императору три глубоких поклона, Литта после представления верительной грамоты произнес пред императором на французском языке приветственную речь, в

которой благодарил его величество за оказанное им расположение к мальтийскому рыцарству и просил Павла Петровича объявить себя покровителем ордена св. Иоанна Иерусалимского. По повелению государя, граф Ростопчин отвечал на эту речь в сочувственных, но слишком общих выражениях, заявляя, что его величество готов постоянно оказывать свое высокое покровительство знаменитому ордену.

После этих речей Литта возложил на императора поднесенную его величеству от имени мальтийских рыцарей кольчугу, а император, взяв сам с подушки древний крест великого магистра Ла Валета с изображением на нем лика Палермской Богоматери, надел на шею этот крест, прикрепленный к старинной золотой цепи. В таком уборе с накинутою поверх императорскою порфирию Павел Петрович пришилил на левое плечо императрице, преклонившей пред ним колено, бант из черной ленты с белым финифтяным крестом. По окончании этой церемонии, исполненной государем с выражением глубокого благоговения, подошел к трону, без шпаги, наследник

престола великий князь Александр Павлович и преклонил колени перед императором. Государь снял с себя корону и, спустив с плеч порфиру, надел поданную ему треугольную шляпу и, обнажив свою шпагу, сделал ею плашмя три рыцарские удара по левому плечу великого князя, после чего, вручив ему его шпагу, возложил ему на шею знаки большого креста и затем трижды облобызал как нового брата по ордену.

По окончании этой аудиенции Литта был введен в залу, где находились великий князь Константин Павлович и великие княжны, которым он преподнес на золотой глазетовой подушке орденские кресты. В течение всего этого дня Павел Петрович был в отличном расположении духа и объявил, что независимо от великого приорства, существовавшего уже в областях, «присоединенных от Польши», он намерен учредить еще особое русское великое приорство.

Таким образом, Литте удалось сделать в Петербурге первый успешный шаг в пользу ордена. Известие о приеме, оказанном ему со стороны русского государя, произвело на

Мальте неописанный восторг, а европейские газеты заговорили о выраженном Павлом Петровичем сочувствии к Мальтийскому ордену как о важном признаке в направлении русской политики. Люди проницательные предвидели, что при пылком характере императора, способного увлекаться до последних крайностей, сочувствие его к ордену не ограничится одним только номинальным покровительством, но что, пожалуй, он будет готов с оружием в руках защищать мальтийский орден от опасностей, грозивших ордену со стороны республиканской Франции. Между тем в Петербурге в пользу Литты начала составляться большая партия из французских эмигрантов и русских дам, среди этих последних самую деятельною пособницею Литты была, конечно, графиня Скавронская.

Для переговоров с Литтою о заключении конвенции между великим магистром и Россиею были назначены государем канцлер Безбородко и вице-канцлер князь Александр Борисович Куракин. Поводом же к этой конвенции послужили следующие обстоятельства.

В 1609 году один из богатейших польских

магнатов на Волыни князь Януш Острожский – Рюрикович по происхождению – постановил, чтобы часть его имений, под именем «острожской ординации», переходила безраздельно к старшему в роде князей Острожских с тем, чтобы в случае пресечения этой фамилии упомянутая ординация по женскому колону перешла к Сангушкам-Любартовичам, и последний из владельцев ординации, Януш Сангушко, большой руки кутила, не обращая никакого внимания на завещание своего предка, и дарил, и продавал, и закладывал имения, входящие в состав «острожской ординации», так что по смерти его, в 1753 году, мальтийским рыцарям не досталось ровно ничего из завещанного им князем Янушем Острожским. Тщетно по поводу этого представители Мальтийского ордена приносили жалобы и королю, и сейму – их никто не хотел слушать. Наконец в 1775 году сейм постановил отпускать в пользу Мальтийского ордена ежегодно 120 000 злотых из государственных доходов, между тем как имения, отобранные в казну от тех, кому продал и раздарил их Сангушко, давали в год дохода 300 000 злотых.

Но при происходивших в Речи Посполитой смутах и эта назначенная ордену сумма выплачивалась крайне неисправно. С переходом в 1793 году под власть России Волыни, где находились имения «острожской ординации», вопрос об удовлетворении претензии ордена был поставлен в зависимость от русского правительства, принявшего на себя уплату известной части долгов Речи Посполитой. Императрица Екатерина II не успела окончить это дело, а Павел Петрович пожелал решить его в пользу Мальтийского ордена, заключив с великим магистром особую конвенцию.

«Его императорское величество, – сказано было в начале конвенции, – с одной стороны, соизволяя изъявить знаменитому Мальтийскому ордену свое благоволение, внимание и уважение и тем обеспечить и распространить в областях своих заведение сего ордена, существующее уже в Польше и особливо в присоединенных ныне к Российской державе областях польских и желая также доставить собственным своим подданным, кои могут быть приняты в знаменитый Мальтийский орден,

все выгоды и почести из сего проистекающие; с другой стороны, славный Мальтийский орден и «Его преимущество» гроссмейстер, зная всю цену благоволения его императорского величества к ним, важность и пользу такого заведения в Российской империи и желая со своей стороны соответствовать мудрым и благотворительным распоряжением его императорского величества всеми средствами и податливостью, совместными с установлениями и законами ордена, с общего согласия между высокодоговаривающимися сторонами условились об установлении сего ордена в России».

На первый раз великое приорство устанавливалось только для лиц римско-католического исповедания, и им дозволено было учреждать родовые командорства, «по коим бы все римско-католическое дворянство Российской империи, даже те, кои по своим обстоятельствам не могут прямо вступить в обязанности статута, участвовали бы в отличиях, почестях и преимуществах, присвоенных сему знаменитому ордену».

Взамен доходов, следовавших ордену с



«острожской ординации», условлено было отпустить из государственного казначейства 300 000 злотых, считая злотый не по 15, а по 25 копеек. В России должно быть устроено великое приорство и десять командорств с присвоенными им ежегодными денежными доходами. Высшее наблюдение за великим приорством было предоставлено гроссмейстеру Мальтийского ордена и его полномочному министру, находящемуся при петербургском дворе, а все важные вопросы, относящиеся к русскому приорству, должны быть разрешаемы на Мальте или гроссмейстером, или орденским капитулом. Император в ограничение прав ордена потребовал только одного, а именно – чтобы сан великого приора, равно как и командорства, от него зависящие, не должны быть жалуемы ни под каким видом кому-либо иному, кроме подданных его величества.

В конце этой конвенции, столь выгодной для ордена, сказано было, что «его величество и его преимущество убеждены в важности и пользе миссии Мальтийского ордена, долженствующей иметь постоянное пребывание в

России, для облегчения и сохранения беспосредственных сношений между обоюдными их областями и для тщательного наблюдения всех подробностей сего нового заведения». Представителем этой миссии, к радости влюбленной Скавронской, был назначен граф Литта, страсть которого к красавице вдовушке возбуждала уже толки в высшем петербургском обществе. Все находили, что эта пара могла бы быть прекрасной супружеской четой, а между тем известно было, что брак их не мог состояться вследствие рыцарского обета, данного графом Литтою, и от которого, как казалось, он не решится отступить, действуя с таким усердием в пользу ордена.

# IX

– Я желал побеседовать с вами, господин Бальби, о делах ордена один на один, и притом с полной откровенностью с обеих сторон, – сказал по-французски император графу Литте, вошедшему в его кабинет после обычного доклада. – Что сообщите вы мне как лицо уполномоченное от ордена?.. – добавил государь, запирая на ключ двери кабинета.

– Я должен почтительнейше доложить вашему императорскому величеству, что положение дел нашего ордена чрезвычайно печально и что помощь, которую окажете державному ордену вы, государь, составляет единственную надежду мальтийских рыцарей, – отвечал с глубоким поклоном Литта.

– Прошу вас садиться, – проговорил приветливо Павел и вместе с тем повелительным движением руки указал Литте на стул, поставленный у столика, за которым государь обыкновенно принимал доклады своих министров. – Я довольно хорошо знаю историю вашего ордена и вполне сочувствую его высоким целям. Надеюсь, что я отчасти уже дока-

зал это, – говорил император, садясь у столика напротив Литты.

– В таком благородном сердце, как ваше, государь, учреждение это не может вызвать в себе иного чувства, кроме сострадания. В течение семи веков боевой славы наш орден был оплотом христианства против завоевательных стремлений неверных, но теперь, когда другие враги христианства, из среды его же самого, расшатали и подорвали все его основы, нашему ордену страшны не поклонники Магомета, сломленные окончательно силою русского оружия, но бывшие поклонники Христа. Все, что зиждется на началах христианского учения, ныне разрушается; все, что носит на себе печать священной старины, подвергается позору и уничтожению...

– Это правда, – насупившись, заметил император, – и я, с моей стороны, готов употребить все средства, чтобы положить предел этим пагубным потрясениям. Когда я был еще наследником престола, то в записке, поданной мною покойной государыне, моей матери, высказывал мысль, что России следует отказать от наступательных войн и устроить

только оборонительную военную силу. Теперь же, к прискорбию моему, я вижу, что мысль эта была ошибочная мечта и что России необходимо выходить на бой с оружием в руках против врагов общественного порядка, не только не дожидаясь их нападения, но даже и без прямого вызова с их стороны, и я, для уничтожения губительных революционных стремлений, воспользуюсь тою властью, которую даровал мне Господь, и всеми теми средствами, которыми располагаю как самодержавный русский император! – проговорил с заметным воодушевлением Павел Петрович.

– Благоволите, государь, употребить хоть некоторую долю ваших необъятных средств на защиту нашего ордена. Вы этим принесете огромную пользу и христианству, и монархиям...

– Что касается христианства, это – так; что же касается монархий, то позвольте, достопочтенный господин бальи, заметить вам, что в этом отношении вы несколько ошибаетесь; у вас верховная власть находится не в руках наследственного государя, но лица, избранного

самими вами; поэтому вы – скорее республиканцы, нежели монархисты, – шутливо заметил император.

– Правда, впрочем, и то, что ваша республика – совершенная противоположность французской; над вашим орденом почиет благословение Божие, и да продлится оно нескончаемо во веки веков, – добавил он с чувством.

– Аминь! – торжественно произнес Литта.

Государь одобрительно взглянул на него.

– Мы, – продолжал бальи, – собственно члены монашеской общины, и потому наследственность верховной власти у нас невозможна. Время, однако, заставляет нас делать уступки в отмену прежних порядков, и, вероятно, орден, отступив еще более от своего монашеского устройства, охотно признает над собою наследственную власть одной из христианских династий, царствующих в Европе.

– А, это совсем другое дело, – с выражением удовольствия перебил Павел Петрович. Он быстро приподнялся с кресел. Литта поспешил встать со стула, но государь, с ласковым взглядом положив руку на его плечо, удержал

его на стуле и, смотря прямо ему в глаза, сказал твердым голосом: – При таком условии орден непременно найдет поддержку в европейских государях.

Проговорив это, Павел опустился в кресло и, подперев лоб рукою, упертою на стол, глубоко призадумался.

– Но, ваше величество, – заговорил Литта, – в настоящее время все европейские государи настолько слабы, что ни один из них не может оказать ордену действительной поддержки. Им всем, не исключая даже и самого могущественного из них, римско-немецкого императора, французская революция угрожает такими опасностями, что им приходится думать лишь о сохранении их собственных священных прав. Только вы, государь, можете защитить нас, – громко и трогательно произнес Литта.

С этими словами он вскочил со стула и, падая перед императором на колени, как погибающий, простирал к нему руки... Павел был смущен и взволнован. Он показал бальи глазами, чтобы он встал, а сам, отдуваясь, заходил быстрыми шагами по кабинету. Литта,

склонив голову, стоял молча, выжидая, что скажет ему император.

– Я объявил себя протектором ордена, но затрудняюсь принять орден под непосредственную мою власть, – начал он, продолжая ходить по комнате и как будто рассуждая сам с собою. – Враги мои заговорят, что я сделал это с целью новых территориальных приобретений, пользуясь теми смутами, которые волнуют теперь Европу, а это было бы с моей стороны нечестно; да, нечестно. Так или нет? – спросил он, остановившись вдруг перед Литтою.

– Государь! – отвечал почтительно Литта. – Держава ваша так обширна, что присоединение к ней такого ничтожного острова, как Мальта – этой голой скалы, возделанной вековыми усилиями тамошних жителей, не может породить никаких толков, неблагоприятных для известного всему миру прямодушия вашего величества.

– Тем более я должен быть осторожен и поддерживать о себе добрую славу, – заметил с довольным видом император. – Враги мои могут говорить обо мне что им угодно, но ни-



кто из них не решится сказать, чтобы я поступал когда-нибудь коварно и вероломно. И во внутренней, и во внешней политике я веду дела с полной откровенностью – начистоту...

Вы, итальянцы,

– ученики Макиавелли, а я – русский царь, враг всякого лицемерия и двоедушия как у себя дома, так и в моих сношениях с иностранными кабинетами. Я объявил себя покровителем Мальтийского ордена; этим я сделал первый шаг и пока не вижу надобности делать второй, то есть принять под свою верховную власть ваше рыцарство. Если бы при настоящем положении дел я вынужден был защитить Мальту вооруженною рукою от нападения республиканцев и если бы пришлось мне таким способом приобрести этот остров, то я прямо говорю вам, что, по праву завоевателя, я не затруднился бы присоединить его к моим владениям...

– И это принесло бы существенную пользу России, – поспешил добавить Литта. – Ей нужно иметь свой собственный порт на Средиземном море, а Мальта представляет для этого все удобства: она лежит на пути между Ев-

ропою и Африкою, с которой Россия до сих пор не имеет еще никаких сношений. Владея же Мальтой, ваше величество имели бы в Средиземном море превосходную точку опоры как в стратегическом, так и в торговом отношении.

– Соображения наши, господин бальи, вполне верны, – отрывисто промолвил император. – А какие другие выгоды представлялись бы для России, если бы я принял ваш орден под непосредственную мою власть?

– Ваше величество стали бы во главе древнейшего дворянства всей Европы – этого самого древнейшего оплота каждой монархии – оплота, истребляемого теперь с таким ожесточением французскими революционерами. Вам, государь, конечно, известно, что в состав нашего ордена входит цвет европейского дворянства, что для поступления в число рыцарей по праву происхождения, в число так называемых «cavalieri di giustizzia», нужно доказать древность рода...

– Я полагаю, однако, – порывисто заметил император, – что, если бы главою вашего ордена был самодержавный государь, то всякие

ограничительные для него условия по принятию в орден были бы неуместны. – Статуты наши в этом отношении не представляют особых затруднений: они дозволяют великому магистру принимать, по собственному его усмотрению, и тех, кто не удовлетворяет генеалогическим требованиям. Если такое лицо оказало особые заслуги, то оно может быть принято в разряд так называемых «cavalieri di grazzia». Полагаю, ваше величество, – не без некоторой надменности продолжал Литта, – что такое право весьма достаточно для монарха, который хотя и может каждого из своих подданных сделать дворянином, бароном, графом, князем, герцогом, но не может сделать древним дворянином, потому что не в силах дать благородных предков тому, у кого их нет. Это свыше власти государя.

Гневный огонь вспыхнул в серых глазах императора, и видно было, что кровь бросилась ему в лицо.

– Было бы вам известно, господин бальи, – заговорил грозным голосом Павел, – что я не люблю вступать с кем бы то ни было в разговоры о некоторых предметах. – И при этих

словах он сделал движение рукою, как будто устраняя что-то от себя. – Я имею привычку требовать, чтобы в иных случаях только выслушивали мое мнение. Выслушайте и вы его: я ценю только личные заслуги и не обращаю никакого внимания на знатность и древность рода. Я кончил, теперь вы можете говорить...

– Принимаю смелость заметить вашему величеству, что орден наш и при тех условиях, о которых я упоминал перед вами, совершенно разнится по своему устройству от федерального дворянства. Он – военно-монашеское учреждение, а ваше величество, конечно, изволите знать, что первая обязанность и воина, и монаха – повиновение. Мы обязаны во всем повиноваться великому магистру, и статуты наши гласят, что послушание старшим выше жертвы Богу. Если бы наш орден отказался блюсти это, то он не мог бы вовсе существовать. Благоволите, государь, принять во внимание еще и то, что рыцари ордена отличались постоянно покорностию перед избираемыми ими же самими великими магистрами, и несомненно, что такая покор-

ность дошла бы у них до безграничного повиновения, если бы они в лице своего вождя увидели помазанника Божия. Древность же дворянского происхождения нисколько не мешает им быть самыми послушными, самыми верными и самыми преданными слугами того, кому они, при благодати Божией, вручат верховную над собою власть...

Император, закусив нижнюю губу, внимательно прислушивался к словам Литты, и его прежде суровое лицо принимало постепенно выражение снисходительности.

– Замечания ваши, господин бальи, совершенно верны, – сказал он. – Но не удивится ли вся Европа, когда она увидит, что я, иноверный государь, глава церкви, которую вы, католики, признаете схизмой, становлюсь верховным повелителем ордена, обязанного прежде всего повиновению главе католической церкви – святейшему папе римскому?

– Не тому, государь, удивится Европа, – с воодушевлением возразил Литта, – а тому, что рыцари-католики избрали своим вождем иноверного монарха!.. Не будет ли такое избрание свидетельствовать перед целым све-

том о том могуществе, какое находится в руках этого государя, а также и том беспримерном великодушии, какое он оказал всему христианству, забыв несчастный раздор между церквами восточной и западной. Ваше величество явили бы собою небывалый еще пример того, как должны поступать христианские монархи в ту пору, когда безверие грозит поколебать не ту или другую церковь в отдельности, но вообще все евангельское учение. Ваше величество стали бы первым поборником всего христианского мира...

– Я поговорю об этом с вашим братом; он, как нунций его святейшества при моем дворе, разъяснит мне некоторые частности по такому слишком щекотливому вопросу... Но вот еще что: какой исключительный титул носит ваш великий магистр – *Altesse aminentissime*? Мне известно значение этого титула, и я думаю, что если бы, положим, я возложил на себя звание великого магистра державного ордена Иоанна Иерусалимского...

Литта с изумлением и радостью посмотрел на государя, от которого не скрылось чувство, овладевшее бальи.

– Не принимайте моих слов даже за самое отдаленное предположение, – поспешил добавить император, – я обращаюсь к вам просто с вопросом: если бы я принял звание великого магистра, то не следовало ли бы мне присвоить титул «Majeste imperiale eminentissime» – «преимущественнейшего, преосвященнейшего императорского величества?» – как бы про себя добавил по-русски Павел.

– Это было бы вполне основательно, государь, но орден наш не смеет льстить себя такую несбыточную надеждою... О, как высоко поднялось бы значение рыцарства, если бы теперь вождем его явился монарх, подобный вашему величеству, к стопам которого орден положил бы всю свою былую славу, в полной уверенности, что она воскреснет и засияет снова! – торжественно произнес Литта. Он замолчал и поник головою.

– Скажите, господин бальи, – заговорил император, как будто припоминая что-то, – ведь и женщины вообще, не говоря о принадлежащих к царствующим домам, могут входить в состав вашего ордена? Мне помнится, что я читал это у аббата Верто...

– Так точно, ваше величество. Орден святого Иоанна Иерусалимского, учрежденный первоначально с благотворительной целью, открыл в свою среду доступ и женщинам. Только впоследствии, когда иоанниты обратились в рыцарскую общину, обычай принимать в орден женщин несколько ослабел, а затем со временем и вовсе уничтожился; но статуты ордена нисколько не препятствуют их вступлению в нашу среду.

– Это необходимо было бы возобновить, – с живостью заметил император.

– Вы, конечно, знаете, что женщины – могущественная сила в обществе, и очень часто они в состоянии сделать то, чего мы, мужчины, не можем, не хотим или не умеем сделать... А кстати, вы уже давно знакомы с графиней Скавронской?

– Я имел честь познакомиться с графиней еще в ту пору, когда покойный муж ее был посланником в Неаполе. По приезде в Санкт-Петербург, я, разумеется, возобновил это знакомство...

– Гм... – проговорил протяжно император. – Благодарю вас, господин бальи, за вашу бесе-



ду; я вскоре опять увижусь с вами, а между тем прикажу князю Куракину переговорить с вами о делах ордена. Я думаю, впрочем, что после того, как я разослал ко всем европейским дворам извещение о принятии ордена под мое покровительство, никто не посмеет посягнуть на его права и независимость.

Сказав это, Павел Петрович слегка поклонился Литте в знак того, что аудиенция кончилась, и подал ему руку, которую бальи поцеловал, преклонив колено перед императором.

# Х

Среди дам, украшавших собою в исходе прошедшего столетия придворные балы в Петербурге, была и императрица Мария Федоровна. Хотя ко времени воцарения ее супруга первая молодость государыни уже миновала, но тем не менее ее величественный и стройный стан, кроткий, как будто успокаивающий взгляд, а также нежные и привлекательные черты лица и в эту пору жизни делали ее заметною красавицею. Вдобавок к этому она своею обходительностию с гостями оживляла балы, даваемые императором Павлом, отличавшиеся строгою церемониальною сдержанностию. Государь, считавшийся прежде одним из лучших танцоров в Петербурге, перестал уже танцевать и только при открытии бала делал несколько торжественных туров польского с теми дамами, которым он хотел оказать свое особенное внимание. Затем, в продолжение всего бала, он ходил по зале в сопровождении дежурного флигель-адъютанта, следовавшего за ним в ногу, шаг за шагом, и ожидавшего от него каждую минуту како-

го-нибудь, иногда весьма сурового приказа- ния. Случалось порою, что император в самом разгаре бала, заметив какую-нибудь неис- правность в форменной одежде кавалера, или его неучтивость к даме, или невнимание к высшему лицу, отдавал флигель-адъютанту приказание отправить тотчас провинившего- ся или на гауптвахту, или в Петропавловскую крепость. Иной раз бальная зала обращалась на некоторое время в аудиенц-залу: дежур- ный камергер по приказанию государя вызы- вал на средину залы того из присутствующих, с кем государь желал говорить, и вызванный таким образом вдруг узнавал о какой-нибудь особенной к нему милости государя или, сверх всякого ожидания, подвергался строгой опале. Порою император приказывал мужчи- нам-танцорам приглашать дам и танцевать с ними вышедшие уже давно из моды танцы – гавот и менуэты.

В первое время своего царствования импе- ратор Павел назначал придворные балы до- вольно часто и иногда в самые короткие про- межутки времени. Случилось однажды так, что императрица несколько раз сряду не яв-

лялась на балах, и отсутствие ее объяснялось болезнью, хотя и не опасною, но чрезвычайно мучительною: государыня с лишком месяц страдала невыносимую зубною болью, и все старания врачей уничтожить или, по крайней мере, хотя ослабить ее страдания были безуспешны. Ни днем, ни ночью не стихали ее мучения, болезнь ее беспокоила и раздражала Павла Петровича. Во время одного из тех страшных припадков усиленной боли, которые приходилось переносить ей, одна из приближенных к ней дам, графиня Мануцци, подала ей написанное по-французски письмо за подписью аббата Иезуитского ордена Грубера. В письме этом аббат просил у императрицы позволения представиться ей лично, так как он имеет верное средство, чтобы избавить ее величество от испытываемых ею ужасных страданий.

Письмо аббата показалось государыне чрезвычайно странным. Она передала его императору, который любил все неожиданное и необыкновенное, а потому иезуит, заявивший с такою уверенностию о самом себе как о зубном враче, был немедленно потребован во

дворец, где, однако, Павел Петрович встретил его не слишком приветливо[2].

– Вы беретесь вылечить ее величество?.. Не слишком ли много у вас смелости, господин аббат? – сурово спросил государь вошедшего в его кабинет иезуита.

– При помощи Божией я надеюсь прекратить страдания ее величества, – отвечал Грубер, не смутившись несколько под испытующим взглядом Павла Петровича. – При этом, государь, может, впрочем, встретиться одно весьма важное препятствие, – продолжал аббат, – мне необходимо будет остаться на несколько дней при ее величестве, чтобы беспреестанно следить за ходом болезни и тотчас же подавать помощь императрице. Поэтому я вынужден просить у вас, всемилостивейший государь, разрешения поместиться на несколько дней в одной из комнат, ближайших к кабинету ее величества.

Такое неожиданное условие, представленное аббатом, чрезвычайно поразило Павла Петровича. Он призадумался, прошелся несколько раз по комнате и, остановившись перед Грубером, положил руку на его плечо.

– Я согласен удовлетворить ваше требование, господин аббат, – проговорил с нахмуренными бровями император, – но с тем, что и я буду наблюдать за вашим лечением.

Иезуит почтительно поклонился государю, который приказал поставить в кабинет императрицы около одного канапе ширмы и там устроил для себя временную опочивальню.

Получив просимое разрешение, Грубер был вне себя от восторга. Теперь для наблюдательного и хитрого иезуита, умевшего все подсмотреть, подслушать и выведать, пробыть безвыходно в покоях государыни несколько дней и ночей сряду было таким событием, о котором ни он, да и никто из его собратьев не смел даже и подумать. Какой удобный случай представлялся ему для ознакомления со всеми мелочными условиями обиходной жизни царственной четы и со всеми их ежедневными привычками, а также для встречи и знакомства с лицами, приближенными к их величествам! Восторг Грубера умерялся, впрочем, до некоторой степени при мысли об исходе предпринятого им лечения. Он знал, что разгневанный Павел Петрович

шутить не любит и что поэтому он, Грубер, в случае неудачного лечения, как наглый и дерзкий обманщик, чего доброго, променяет в один миг царские чертоги на Петропавловский равелин. Грубер шел теперь напропалую, понимая, что если он и может потерпеть жестокую неудачу, то может также рассчитывать и на успех своей отчаянной затеи. Он видел, что для иезуитских козней в России была теперь самая вождеденная пора, и считал непростительным упустить такие благоприятные обстоятельства, а потому как ревностный служитель ордена готов был даже пожертвовать собою на пользу Общества Иисуса.

Груберу, показавшему себя одним из самых замечательных распространителей иезуитизма, было в ту пору под шестьдесят лет. Он родился в Вене, воспитывался в тамошней иезуитской коллегии и, получив там тщательное и разностороннее образование, вступил в орден в самом раннем юношеском возрасте. Грубер при его необыкновенных способностях и многих талантах, при его гибком и тонком уме, при полном бессердечии, а

также и при характере, подходившем как нельзя более к деятельности иезуитов, был для них чрезвычайно важным приобретением. Аббат был историк, механик, лингвист, гидравлик, математик, химик, музыкант и живописец. Казалось, ни одна отрасль человеческих знаний не ускользнула от него; ему удалось все, и, по-видимому, удалось не поверхностно, не как-нибудь, но вполне основательно. Кроме того, он был человек светский, превосходный проповедник и ловкий красноречивый. Он превосходно говорил: по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-английски, по-польски и по-русски и был глубокий знаток языков греческого, латинского и еврейского. На церковной кафедре он являлся красноречивым проповедником, а беседуя в гостиницах, умел самый туманный богословский вопрос изложить в легкой, увлекательной форме.

По уничтожении императором Иосифом II в Австрии ордена иезуитов Грубер, пользуясь покровительством, оказанным иезуитскому ордену императрицею Екатериною II, переехал в Белоруссию, в Полоцк, и вскоре ока-



зался там главным дельцом в уцелевшем остатке этого ордена. Полоцк был, однако, слишком тесен для кипучей деятельности рьяного иезуита, и заветною мечтою Грубера было пробраться в Петербург, чтобы, воспользовавшись там счастливыми обстоятельствами, утвердить влияние ордена не только в русском обществе, но и при императорском дворе.

Издавна иезуиты обдумывали этот план и пытались осуществить его под благовидным предлогом, а именно – под предлогом сношений с петербургскою Академиею наук. Со своей стороны Грубер тоже ухватился за это и явился в Петербург, как будто желая только представить академии некоторые изобретения, сделанные им по части механики и гидравлики, и ознакомить академиков со своим проектом об осушке болот и с изобретенными им водяными воздушными насосами, а также с ножницами для стрижки тонкого сукна. По словам Грубера, поездка его в Петербург кроме этого не имела никаких других целей.

Приехав в столицу, Грубер под предлогом отыскивания покровительства своим изобре-

тениям и проектам стал являться в дома русских вельмож и всюду, куда только он ни показывался, успевал увлечь каждого своею беседою. Он стал показываться и во всех публичных собраниях, стараясь там обратить на себя внимание присутствующих. Сторонники иезуитизма, бывшие тогда в ходу мальтийские рыцари и французские эмигранты, заговорили о Грубере как о необыкновенном ученом, а вместе с тем и благочестивом человеке. Молва о Грубере дошла и до императорского дворца. Павел Петрович вспомнил тогда, что Грубер был представлен ему в Орше, и он до некоторой степени был уже предрасположен в пользу искательного и пронырливого иезуита еще до получения императрицею письма Грубера.

После первого приема лекарства, данного государыне Грубером, она почувствовала некоторое облегчение: прежние жестокие и невыносимые страдания сразу ослабели. По приглашению иезуита Мария Федоровна повторила прием, и боль заметно стала стихать. Государыня повеселела, повеселел и император, и прежние грозные взгляды, бросаемые

им на Грубера, приняли теперь ласковое выражение, а на губах государя стала являться при входе Грубера приветливая улыбка. Прошло еще несколько дней, и императрица окончательно избавилась от изнурявших ее страданий. Павел Петрович, со свойственною ему живостию, благодарил врача-аббата и хотел пожаловать ему Анненский орден.

– Я не нахожу слов, чтобы выразить вашему императорскому величеству мою беспредельную благодарность за тот знак почета, которым вам угодно удостоить меня, но, к прискорбию моему, я никак не могу принять жалуюмую мне вами награду. Уставы Общества Иисуса, – почтительно продолжал Грубер,

– не дозволяют его членам носить какие-либо знаки отличий, но обязывают их служить государям и подданным только «ad maiorem Dei gloriam».

– Только для увеличения славы Божией, – сказал император, переводя по-русски латинский девиз иезуитов. – Прекрасно!.. Вот истинно бескорыстная цель! А между тем на таких людей клеветают и злословят их...

– Клевета и злословие всегда приходится на долю добродетелей, – смиренно, с глубоким вздохом проговорил иезуит. – Вашему величеству очень хорошо известно, какое пагубное настроение овладело теперь всеми умами, как быстро проникает повсюду зло-вредное учение якобинцев. Мы, иезуиты, – поборники старых порядков, стражи Христовой церкви и охранители монархических начал, что же удивительного, если в настоящем омуте страстей и омерзительных, преступных порывов мы всюду, на каждом шагу, встречаем только врагов, которые употребляют все средства, чтобы унижить, обесчестить, подавить и уничтожить наш орден? Я не ошибусь, конечно, если скажу вашему величеству, что уничтожение нашего ордена повлекло за собою все ужасы французской революции. Приверженцам ее нужно было очистить дорогу, стереть нас с лица земли, чтобы не встречать постоянного и упорного сопротивления со стороны нашего ордена...

Павел Петрович внимательно слушал речь Грубера, с блестящим красноречием развивавшего ту мысль, что Общество Иисуса

должно служить главной основой для охранения спокойствия и поддержания государственных порядков. Патер коснулся настоящего положения дел в Европе и при этом обнаружил глубокое знание всех тайников европейской политики. Поговорив несколько времени с Грубером о политических делах, государь был очарован его умною, смелою и, по видимому, донельзя откровенною беседою и, в ознаменование своего особого благоволения, дозволил ему являться во всякое время без доклада.

Иезуит торжествовал и, разумеется, не упустил случая воспользоваться данным ему от государя позволением.

Однажды он явился в кабинет императора в то время, когда его величество пил шоколад.

– Почему это, – спросил патера Павел Петрович, – никто не умеет приготовить мне такого вкусного шоколада, какой мне подали однажды, во время моего путешествия по Италии, в монастыре отцов иезуитов?

– Это потому, что у нас, иезуитов, существует особый способ приготовления шоколада.

да, и если вашему величеству угодно, то я приготовлю его так, что он будет совершенно по вашему вкусу.

Действительно, приготовленный Грубером шоколад показался императору таким вкусным, какого он еще ни разу не пивал, и после того, под предлогом приготовления шоколада, аббат стал являться каждое утро к императору, который, милостиво шутя с ним, называл его: «*ad majorem Dei gloriam*». Вскоре аббат сделался совершенно домашним человеком у государя. Беседуя с ним наедине по нескольку часов, Грубер внимательно изучал все оттенки в характере императора, предупреждал его мысли, применялся к настроению его духа, и вскоре не только при дворе и в Петербурге, но и за границею заговорили о той милости и доверии, какими аббат Грубер стал пользоваться у русского императора. Приближенные к государю лица начали раболепно изгибаться перед новым любимцем, и даже неизменно любимый Павлом Петровичем граф Кутайсов, желая приобрести местечко Шклов, принадлежавшее известному Зоричу, находил нужным, для успеха в этом деле,

заискивать и словесно, и письменно могущественной протекции Грубера. Вообще влияние ловкого иезуита страшно росло и заставляло призадумываться многих...

Грубер не довольствовался, однако, этим и старался усилить еще более свое влияние. Кроме французских эмигрантов, и трубивших, и шептавших во славу патера, деятельною его пособницей была графиня Мануцци – молоденькая, хорошенькая и смышленная дамочка, которую император приглашал в свой небольшой домашний кружок. Отец ее мужа, итальянский авантюрист, приехал в Польшу, потом сошелся с князем Потемкиным, усердно шпионил ему и вскоре из жалкого бедняка обратился в богача, владевшего и большими поместьями и миллионными капиталами и украсившего себя графским титулом. Сын его, уже поляк по рождению, нашел доступ к великому князю Павлу Петровичу и, зная неприязнь наследника престола к Потемкину, открыл государю о неблагоприятных занятиях своего родителя и вместе с тем сообщил ему все тайны, бывшие в руках старого Мануцци. Император ввиду такой преданности

оказывал особенное расположение к Станиславу Мануцци, который был ревностным сторонником Грубера, а молоденькая графиня, со своей стороны, как будто нечаянно, по легкомыслию, простительному ее полу и возрасту, выбалтывала в присутствии государя то, что нужно было Груберу и его партии. Пособником патера был также и руководимый им граф Юлий Литта, который имел также свободный доступ к императору по делам Мальтийского ордена, чрезвычайно занимавшего в ту пору Павла Петровича. Приходя, собственно, по этим делам, Литта заводил речь с государем и по вопросам как внешней, так и внутренней политики, и влияние его стало заметно отражаться во многих распоряжениях императора.

Впрочем, Литта, влюбленный без памяти в Скавронскую, не вдавался во все изгибы иезуитских козней и, сближаясь с Грубером, имел прежде всего в виду достижение своих собственных целей, тогда как его наставник и руководитель смело и твердо шел к тому, чтобы утвердить господство своего братства в России и присоединить к этому братству



Мальтийский орден, большинство членов которого были тайные иезуиты под покровом рыцарских мантий.

# XI

По Большой Морской улице, бывшей еще в ту пору, к которой относится наш рассказ, одною из довольно пустынных местностей Петербурга, частенько пробирался в сумерки высокий и статный мужчина. Нахлобучив на глаза треуголку и закрывая лицо воротником плаща, он, видимо, старался, чтобы, не будучи никем узнанным, шмыгнуть поскорее в калитку небольшого каменного дома и взобраться проворнее во второй этаж. Там этого таинственного посетителя, человека уже лет за сорок, но еще замечательно красивого, приветливо встречала прехорошенькая дамочка лет двадцати пяти-шести. С живостию, свойственной француженкам, она тотчас, после дружеского приветствия и нескольких поцелуев, забрасывала гостя вопросами о самых разнообразных предметах и между прочим о делах политических и о случаях, бывших при дворе. Хотя гость и не совсем охотно отвечал на такие вопросы, сводя обыкновенно разговор на городские новости и слухи, но молоденькая хозяйка так или иначе всегда успе-

вала выведать от него многое: он как будто невольно проговаривался перед нею.

Однажды, когда таинственный посетитель, впущенный с лестницы горничною, тихонько пробрался к хозяйке, он застал ее одетую в красную тунику с красными греческими сандалиями на маленьких ножках. В таком наряде она стояла перед трюмо и с таким увлечением декламировала наизусть французские стихи, что не заметила подкравшегося к ней гостя.

– Ах, это ты, милый Жан? – вскрикнула она, заслышав его присутствие позади себя. – Как ты испугал меня!.. – Она быстро повернулась к гостю и, взяв его своею беленькой ручкой за подбородок, нежно поцеловала его. – Вот видишь, я последовала твоему совету и для роли Ифигении приготовила весь костюм красного цвета...

– И очень хорошо сделала... В настоящее время это любимый цвет императора. Ты знаешь, как он впечатлителен, и если его так сильно раздражает все, что хоть сколько-нибудь бывает ему неприятно, то, наоборот, ему доставляет большое удовольствие всякая слу-

чайность, если она подходит к настроению его духа. Государь проникнут рыцарскими чувствами, и потому цвета имеют для него особое значение. Сперва ему нравился зеленый цвет, этот цвет любила дурняшка Нелидова; потом ему стал нравиться бланжевый цвет – любимый цвет Лопухиной, а теперь нравится красный, потому в особенности, что это цвет Мальтийского ордена.

– И, быть может, дамы его сердца... Так? А кстати, что же граф Литта

– этот образец рыцарства?.. Как он хорош собою!.. Удивительно!.. Настоящий красавец, но ты, mon vieux turs, еще лучше его. Правда ли, что Литта оставляет орден для того, чтобы жениться на красавице Скавронской?.. Говорят, что она – давнишняя его страсть... рассказывали, что еще в Неаполе он влюбился в нее... Как, однако, похвально постоянство в наше переменчивое время! Впрочем, на то он и рыцарь, чтобы хранить до гроба верность в любви?.. – болтала француженка.

При упоминании о Литте и Скавронской гость как будто опомнился и быстро хватился рукою за боковой карман своего щегольского

кафтана.

«Всякий раз, когда я отправляюсь к этой милочке, – подумал он, – я бываю точно растерянный! Вот и сегодня я во дворце только наскоро пробежал «его» записку, надобно прочесть ее внимательно...» Думая это, Жан, или, собственно, граф – Иван Павлович Кутайсов, вынул из кармана небольшой листок бумаги, написанный чрезвычайно четким почерком, и хотел прочесть написанное:

– Это что у тебя?.. – порывисто спросила француженка, заглянув из-за плеча Кутайсова и протягивая к записке свою ручку.

– Осторожнее... это записочка государя... – почти с благоговением проговорил Кутайсов.

– О чем?..

Кутайсов нахмурился, видно было, что пытливость красоти ему не слишком нравилась.

– Государственные секреты... непроницаемые тайны, которые не должна знать твоя бедная Генриетта, – подсмеиваясь и в то же время надув губки, ворковала француженка. – Впрочем, я вовсе не любопытна; я решительно ничего не желаю знать о том, что у вас де-

дается при дворе.

Говоря это, она подошла к гостю и начала ласково трепать его по щеке. В ответ на ее ласки он взял ее за талью и при этом выронил из рук записку. Генриетта, заметив это, кончиком сандалии подсунула ее под кресло, зная, что влюбленный в нее Кутайсов забывает обо всем в присутствии своей Генриетты. Затем, прекратив разговор о Литте, о Скаврнской, о дворе и о политике, она принялась рассказывать о том, как выступит в роли Ифигении, и с одушевлением декламировала лучшие места этой роли, заставляя Кутайсова, отлично знавшего по-французски, читать реплики по книге.

Кутайсов, восхищаясь драматическим талантом Генриетты, забыл решительно обо всем и заботился лишь о том, чтобы избранница его сердца была как нельзя лучше принята публикою при появлении на сцене в роли Ифигении. Впрочем, и независимо от его забот по этой части Генриетта Шевалье могла смело рассчитывать на самый блестящий успех.

Еще в царствование Екатерины II француз-

ский театр существовал в Петербурге постоянно, и французская труппа нередко, по желанию государыни, играла в Эрмитаже. Обыкновенно же французские спектакли давались два раза в неделю во вновь построенном у Летнего сада деревянном театре, который мог для того времени считаться образцовым зданием своего рода как по расположению сцены и мест, так и по отделке живописью и разными украшениями. Впрочем, в царствование Екатерины театр этот во время французских спектаклей был довольно пуст, так как лучшее петербургское общество почти каждый вечер собиралось или при дворе, или на балах, даваемых в разных домах. Хотя император Павел под влиянием событий, вызванных французскою революциею, и оказывал непримиримую ненависть ко всему французскому, но театр в этом случае составлял какое-то особенное исключение. Павел Петрович вообще чрезвычайно любил французские спектакли, преимущественно же нравились ему трагедии Расина. Французские актеры не только играли у него во дворце, но он бывал иногда и в частном театре на французских

спектаклях, восхищаясь в особенности игрою госпожи Шевалье. Присутствие императора в театре привлекало туда всю петербургскую знать. Но и помимо этого, она очень охотно ездила на французские спектакли, так как в ту пору балы и при дворе, и в частных домах бывали очень редко: император не слишком жаловал увеселения этого рода. Вдобавок к этому чрезвычайный наплыв в Петербург французских эмигрантов доставлял большой запас зрителей театральной зале, которая наполнялась множеством французов, проживавших в Петербурге в качестве учителей, гувернеров, секретарей, библиотекарей в разных домах, а также французами и француженками, находившимися в Петербурге по торговым и промышленным занятиям. В ту пору считалось модным обычаем, чтобы знатные и богатые люди абонировали ложи на французские спектакли на целый театральный сезон. Абонемент, однако, прекращался в случае бенефисов, назначаемых в пользу лучших актеров и актрис, или, вернее сказать, бенефис тогдашних французских артистов в Петербурге состоял в постановке какой-ни-



будь новой замечательной пьесы; и затем сбор за первое ее представление предоставлялся за покрытием всех расходов по спектаклю кому-либо из артистов и артисток, по усмотрению антрепренера. Этому последнему немало было, впрочем, хлопот с актрисами, которые делились на две партии: на хорошеньких, хотя и бесталанных, но с сильными покровителями, и на нехорошеньких, но даровитых, поддерживаемых всею публикою. Госпожа Шевалье не принадлежала, собственно, ни к одному из этих разрядов, так как, будучи чрезвычайно красивой женщиной, она в то же время отличалась и замечательным драматическим дарованием. Кроме Шевалье, около того времени славились на французской петербургской сцене: г-жа Гюс, трагическая актриса, г-жа Билью, игравшая роли первых любовниц, и субретка Сюзетт.

Молоденькая и смазливенькая французская актриса, по приезде в Петербург, тотчас же находила себе богатого и знатного покровителя, а петербургские дамы, в свою очередь, влюблялись в молодых французских актеров, и в особенности в итальянских певцов,

из которых один, Мандини, был баловень тогдашних барынь большого петербургского света. Пользуясь их влюбчивостью, он, по рассказу г-жи Лебрен, до того не церемонился с ними, что ездил к ним в гости уже слишком запросто – в шлафроке.

Покровителем при г-же Шевалье состоял граф Кутайсов, который, в силу своего положения при государе, доставил мужу ее какую-то должность по военному ведомству с чином майора. Импровизированный майор нисколько не стеснялся тем, что вопреки существовавшим тогда строгим порядкам по военному чинопроизводству приобрел свой штаб-офицерский ранг таким легким и странным способом. Он чрезвычайно важничал своим военным мундиром и, пользуясь отношениями своей супруги к Кутайсову, доставлял, кому было нужно, могущественную протекцию графа за более или менее приличное вознаграждение. В свою очередь, щедрый по природе Кутайсов, получивший от императора огромное состояние, тратил немало денег на Генриетту. Он, между прочим, купил ей на Дворцовой набережной большой каменный

дом, куда она и перебралась из первоначально занимаемой ею в Большой Морской скромной квартирке. В своем собственном доме майорша-актриса устроилась на широкую ногу: роскошная мебель и изящная бронза были выписаны для ее новоселья прямо из Парижа на огромную сумму. В новых великолепных чертогах Генриетта жила открыто, принимая у себя множество гостей, которые обыкновенно приезжали к ней на чай по окончании спектакля; и удостоиться такого приглашения считалось не только за честь, но и за счастье. В числе самых почетных гостей у госпожи Шевалье был, разумеется, Кутайсов, который не скрывал уже с некоторого времени своей сердечной привязанности к молоденькой актрисе. Он являлся в ее дом полным хозяином, тогда как законный ее сожитель, майор «де» Шевалье, исполнял там только должность дворецкого. Генриетта предоставляла графу своих гостей, развязно рекомендовала каждого из них, просила за них, и просьбы ее сопровождались всегда желанным успехом. Эмигранты, мальтийские рыцари, явные и тайные иезуиты старательно забирались в

ее гостиную, а один из иезуитов, патер Билли, был и ее исповедником, и домашним у нее человеком, исполняя все те поручения молодой майорши, которые требовали ловкости и тайны. Между тем Билли был один из самых ревностных поборников иезуитского ордена и преданнейшим другом Грубера, который и узнавал чрез него многое, что делалось при дворе, так как Кутайсов при всей своей воздержанности на язык иногда в припадках сердечной откровенности совершенно некстати пробалтывался перед ласкавшейся к нему Генриеттой.

За несколько дней до бенефиса г-жи Шевалье к дому ее беспрестанно подъезжали экипажи с лицами, желавшими получить билет на предстоящий спектакль непосредственно из ее прекрасных ручек, а некоторые «знатные персоны» посылали к г-же Шевалье письма, в которых, согласно тогдашней напыщенности, заявлялось, что персоны эти не переживут того дня, когда не увидят торжества красоты, грации и таланта, что отсутствие их в спектакле, в котором явится сама богиня Мельпомена, будет для них столь «жестоким

истязанием», что одна мысль об этом приводит их в трепет и содрогание. Ввиду этого излагалась просьба о вручении посланному билета, за который и препровождалось триста, шестьсот и даже тысяча двести рублей, тогда как в обыкновенные спектакли ложи стоили только от двадцати до двадцати пяти рублей. Вообще бенефис был обильною жатвою для г-жи Шевалье, так как никто из искавших внимания или покровительства графа Кутайсова – а кто не искал тогда и того, и другого? – не жалел в пользу бенефициантки денег, и потому финансовые дела влиятельной актрисы шли самым блестящим образом. Список лиц, взявших билеты на бенефис г-жи Шевалье, с означением, кто сколько заплатил за билет, предоставлялся Кутайсову, и прямым последствием рассмотрения им этого списка была большая или меньшая степень внимания и расположения его сиятельства, соответственно со сделанными взносами.

В бенефис г-жи Шевалье театр был полон. Все, что только было в Петербурге отборного по знатности и богатству, можно было видеть на этот раз в театральной зале, блиставшей

великолепными нарядами дам, придворными шитыми кафтанами и гвардейскими мундирами. За несколько минут до шести часов – время, когда в ту пору начинались спектакли, явился император в парадном мундире Преображенского полка, в шелковых чулках и башмаках, с голубою лентою через плечо и с Андреевскою звездою на груди. При его появлении все встали и сели только после поданного им рукою знака. Император сел в своей ложе в кресло, имевшее подобие трона и поставленное на некотором возвышении. За креслами стал с обнаженным палашиом кавалергард. Позади императора на табуретах помещались великие князья Александр и Константин, а за ними, в некотором отдалении, находились стоя: граф Кутайсов, обер-церемониймейстер Валуев и дежурный генерал-адъютант Уваров.

Среди глубокой тишины, наступившей в театральной зале, оркестр заиграл знаменитую в ту пору увертюру Глюка в опере «Ифигения». Когда оркестр кончил, поднялся занавес, и на сцене появилась г-жа Шевалье. Избранный ею красный цвет наряда приятно

подействовал на государя. С напряженным вниманием он стал следить за ходом пьесы, которая местами применялась как нельзя более к тогдашнему положению политических дел в Европе. Раздоры между союзниками, греческими царями, отправлявшимися под Троию, готовность верховного вождя их, Агамемнона, пожертвовать для успеха общего дела своею дочерью Ифигениею, которую он должен был принести в жертву разгневанной Диане, его старание водворить согласие между начавшими враждовать друг с другом союзниками производили на Павла Петровича сильное впечатление. На лице его выражались то гнев, то удовольствие, то задумчивость, и он, понюхивая по временам табак, повторял шепотом те из стихов Расина, которые, как ему казалось, подходили к образу его действий и намекали на его отношения к союзникам, расстроившим его планы, тогда как он сам готов был жертвовать всем для восстановления порядка в Европе, потрясенной французской революциею. По окончании спектакля государь приказал Валуеву поблагодарить г-жу Шевалье за удовольствие, до-

ставленное его величеству, а при выходе из  
ложи с дружелюбно лукавою усмешкою по-  
трепал Кутайсова по плечу. Кутайсов был те-  
перь наверху блаженства, видя торжество  
своей возлюбленной. Из театра все пригла-  
шенные отправились в дом бенефициантки,  
где их ожидал и чай, и роскошный ужин. Со-  
бравшиеся гости весело пировали у любезной  
хозяйки. В гостиной ее слышались веселые,  
шутливые речи и завязывались серьезные  
разговоры, а между тем шнырявшие среди го-  
стей друзья и сторонники аббата Грубера  
тщательно прислушивались ко всему и жад-  
но ловили каждое слово, надеясь сделать из  
него употребление, «ad majorem Dei gloriam».



## XII

Ежедневные сходки явных и тайных иезуитов, проживавших в Петербурге во время царствования Павла Петровича, происходили в кондитерской, которую содержал в Большой Миллионной улице швейцарец Гидль. Сюда собирались во множестве и другие посетители, и между ними иезуиты старались приобретать себе сторонников, вступая с ними в беседу и умело направляя ее к своим целям. При кондитерской Гидля была особая, находившаяся в стороне комната, предназначенная исключительно для иезуитов, и здесь у них происходили не только братские свидания, но порою являлись сюда и залетные птички. Чрезвычайные же заседания иезуитов назначались в квартире аббата Грубера; собрания у него никогда не бывали многочисленны, так как на них приглашались исключительно главные деятели братства. Хозяин дома, а вместе с тем и председатель собрания, Грубер принимал все меры предосторожности, чтобы ни одно слово, произнесенное здесь, не дошло до чужого уха, а собиравшие-

ся к нему иезуиты приходили поодиночке, заменяя при этом постоянно носимые ими испанские плащи и круглые с большими полями шляпы обыкновенною верхнею одеждою того времени.

В одно из таких заседаний аббат, разместив своих гостей около письменного стола и сев сам над кипию бумаг, приготовленных для доклада и справок, начал беседу бойкою речью на латинском языке, так как при разноплеменном составе иезуитского ордена язык этот был разговорным языком среди его членов.

– Вам, достопочтенные братья, – сказал он, – уже известно, что с давних пор общество наше старалось о том, чтобы привлечь в свою среду мальтийских рыцарей. Предположение это осуществилось ныне блестящим образом, так как почти все члены ордена святого Иоанна Иерусалимского, замечательные по их личным качествам, уму, образованию и деятельности, а также по богатству и знатности, принадлежат уже к Обществу Иисуса. Кроме того, почти все баварские братья нашего общества по упразднении нашего ордена в Гер-

мании вступили в орден святого Иоанна Иерусалимского. Присутствие наших братьев в Мальтийском ордене остается тайною, и обстоятельство это еще более способствует распространению и усилению власти нашего общества, так как в мальтийских рыцарях все не подозревают наших усердных союзников. По неисповедимым судьбам Божиим, нам, изгнанникам из католических стран, удалось найти не только приют, но и могущественное покровительство в стране схизматиков – России. Страна эта – новая для нас нива, которую мы для увеличения славы Божией должны неустанно возделывать, употребляя на это все наше умение, все наши силы, все наши средства. Обстоятельства как нельзя более благоприятствуют нам в особенности потому, что и наше общество, и древний католическо-рыцарский орден имеют теперь сильного защитника в особе русского самодержца. Могли ли мы, преданнейшие слуги римской церкви, предвидеть когда-нибудь такое небывалое и странное положение поборников святой церкви?.. И не должны ли мы теперь пользоваться этим положением во

славу Божию?..

Одобрительный шепот, в котором слышалось славословие имени Господня, прошел среди собеседников в ответ на эти вопросы Грубера.

– Сообщите, брат Иаков, почтенному собранию, – продолжал аббат, обращаясь к одному из патеров, – о том, какой ход имел в Риме вопрос о намерении императора Павла принять на себя звание великого магистра Мальтийского ордена.

– Его святейшество Пий VI, – начал брат Иаков, – был чрезвычайно встревожен, узнав о таком намерении русского государя, и никак не соглашался, чтобы во главе ордена святого Иоанна Иерусалимского, непосредственно подчиненного папскому престолу, стал государь иноверный и притом ныне самый могущественный из всех монархов Европы. Со своей стороны, общество наше чрез кардинала Кансильви старалось осуществить это предположение; агенты наши в Ватикане деятельно хлопотали о том, чтобы изменить взгляд его святейшества на это дело, представляя святому отцу, что покровительство,

оказываемое государем греческого закона такому истинно католическому учреждению, как Мальтийский орден, подает надежду на утверждение господства католической церкви в необъятных владениях царя.

– Это совершенно верно!.. Возблагодарим Господа Бога за милости, оказываемые им нашей святой церкви... – подхватил с чувством патер Билли, возводя умиленно в потолок свои впалые глаза.

– Я должен сказать, – заговорил опять Грубер, – что в этом деле избранным орудием Божьего промысла был бальи граф Литта. Он, послушный моим внушениям, а также пользуясь расположением и доверием к нему императора Павла, успел не только склонить его величество принять под свою защиту Мальтийский орден, но и подготовить государя к тому, чтобы он объявил себя великим магистром этого знаменитого ордена. При настоящих обстоятельствах такая готовность императора имеет чрезвычайную важность. Он ревниво оберегает свое достоинство, и надобно повести дело так, чтобы взятие Мальты французами он, как защитник ордена, при-

нял за оскорбление, лично ему нанесенное французскою директориею. Нужно, чтобы он в этом деле пошел сколь возможно далее и решился бы силою оружия смирить безбожных республиканцев! Тогда восстановится в Европе прежний порядок, при котором святая наша церковь пользовалась принадлежащими ей божественными и мирскими правами...

– А позвольте спросить, достопочтенный аббат, – отозвался один из патеров, – как поведем мы дело о браке графа Литты с графинею Скавронской? В городе начинают все громче и громче говорить об этом браке, который отнимает Литту не только у ордена, но, может быть, и удалит его из лона святой церкви.

При этом вопросе нервное движение пробежало по лицу аббата, а окружавшие его собеседники придвинулись к нему еще ближе, желая с особым вниманием выслушать его сообщение по этому предмету.

– Любовь его преступна!.. – с негодованием сказал Грубер. – Ослепленный безумною страстью, он думает только о том, чтобы вступить в брак с схизматичкой, решившись даже от-

речься от рыцарских обетов. Все усилия мои расстроить косвенным образом этот союз оставались до сих пор тщетны, и я убедился, что и впоследствии они не будут иметь ни малейшего успеха. Выход графа Литты из Мальтийского ордена не только расстроит дальнейшие наши планы, но и произведет самое пагубное впечатление на всех старающихся поддержать падающий орден... Сделаю еще одну попытку, попытку решительную, для обращения этого безумца: я переговорю лично с ним, и если попытка эта не удастся, то останется только одно средство для того, чтобы удержать Литту в ордене. Средство это, конечно, крайне прискорбно, но вы знаете, возлюбленные во Христе братья, что, по коренному правилу, принятому нашим обществом, цель оправдывает средства, а потому и позволительно будет употребить в дело придуманную мною меру. Нельзя не иметь в виду, что если Литта оставит орден, то император Павел легко может остыть в своем сочувствии к этому учреждению, и тогда планы наши неминуемо расстроятся. Следовательно, всего нужнее при настоящем положении дел

удержать графа Литту в том положении, какое он занимает ныне и при дворе императора, и среди мальтийского рыцарства... Предположенная мною мера, – продолжал таинственно Грубер, – заключается в том, чтобы склонить его святейшество разрешить графу Литте вступить в брак со Скавронской и, несмотря на это, остаться в звании бальи ордена св. Иоанна Иерусалимского...

Иезуиты встрепонулись и с выражением недоумения взглянули на своего жоака.

– Конечно, нелегко будет убедить святого отца, чтобы он согласился на такое небывалое еще отступление от орденского статута, но нам необходимо достигнуть этого. Правда, граф Литта по своему характеру, который не удовлетворяет строгим требованиям со стороны нашего общества, не может быть нашим истинным сочленом, но нам этого не нужно. Вполне достаточно, если он будет в наших руках; мы через него сумеем сделать многое у императора Павла, а бальи, в свою очередь, несомненно окажется толковым и послушным нашим учеником.

– Среди русского общества, – заметил Бил-



ли, – мы действуем теперь довольно успешно. Русские очень охотно отдают в наш коллегим своих сыновей, и в Петербурге, как кажется, нет уже ни одного знатного дома, в котором член нашего общества не был бы или наставником детей, или библиотекарем, или секретарем, или, наконец, постоянным гостем и другом семейства. Сверх того, мы исполняем здесь как следует и тайные наставления «*Monita Secreta*», нашего общества, привлекая к нему не только вельмож и царедворцев, но даже мужскую и женскую прислугу в знатных русских домах.

– Да, желания нашего братства исполнились теперь свыше самых смелых ожиданий, – самодовольно заметил Грубер. – Как памятно мне то время, когда мы так усиленно старались проникнуть в столицу русской империи и когда все наши к тому попытки оставались безуспешны вследствие противодействия епископа Сестренцевича. Должно сказать, что настоящим нашим положением в России мы обязаны собственно императрице Екатерине; она не допустила привести в исполнение в своих владениях папскую буллу

об уничтожении нашего ордена и позволила нам жить в Полоцке, находя, что мы можем быть чрезвычайно полезны в деле воспитания юношества, внушая ему страх Божий и безусловное повиновение установленным властям. Таким образом, мы с первого раза достигли в России того, чего с таким трудом и так долго добивались в католических государствах.

– Покойная государыня, – добавил иезуит Эверанжи, – покровительствовала нашему братству и в других еще видах. Когда до сведения ее дошло, что собрат наш Перро до такой степени приобрел расположение китайского богдыхана, что он сделал его мандарином, то императрица намеревалась вести посредством нашего ордена переговоры с Китаем, надеясь выговорить значительные торговые выгоды для своих подданных.

– Воздавая должную дань благодарности императрице за оказанное ею нам покровительство, нельзя не вспомнить, – сказал иезуит Бжозовский, – и о том расположении, какое оказывали нашему братству сильные в ее пору вельможи: граф Чернышев, управляю-

ций Белоруссиию, и в особенности князь Потемкин.

– Князя Потемкина мы должны признать истинным нашим благодетелем, – с живостью заметил Грубер. – Всем нам известно, что, когда в Москве появилась на русском языке направленная против нашего ордена книга, то она встревожила все образованное русское общество. В этой враждебной нам книге прямо предостерегали русских от тех опасностей, какими будто грозит наше водворение в России. Мы были выставлены в этой книге как тайные распространители католичества, как люди, которые не разбирают средств для достижения своих пагубных целей; нас называли там разрушителями общественных порядков, готовыми даже на царубийство. Короче сказать, в этой книге мы были представлены...

На этом слове Грубер несколько замялся, а его собеседники с веселою улыбкою переглянулись между собою, как будто говоря: «да что об этом толковать, это – старая песня!..»

– Книга эта могла погубить нас, – продолжал Грубер. – Императрица поколебалась в

своих взглядах на наши добродетели, но князь Потемкин успел испросить ее повеление об истреблении этой книги до последнего экземпляра...

– Да, князь Потемкин сделал для нас много хорошего, – заговорил иезуит Вихерт. – Недаром же он и находился в наших руках. Во время осады Очакова он был окружен как членами нашего общества, так и женщинами, бывшими под нашим влиянием. Он любил нас, и я помню, как в Орше он служил в нашем монастыре молебны и сделал в тамошнюю ризницу такой дорогой вклад, каких не делали даже в старину самые богатые польские магнаты. Нельзя не заметить, что в пользу общества Иисуса всего более расположил его наш достойный сочлен Нарушевич, и как легко удалось ему это сделать, польстя лишь суетности князя Таврического! Занимаясь геральдикой, Нарушевич придумал, будто Потемкины происходят от польских шляхтичей Потемпских, предки которых были в древние времена владетельными князьями в городе Потенсе, находившемся в Италии. Это баснословное родословие сблизило Потемкина с

Нарушевичем, который и направил могущественное влияние князя в пользу нашего братства. Кроме того, в бытность мою в Полоцке я старался о том, чтобы императрица осталась как нельзя более довольна приготовленной ей от нас встречей, и мы вели дело так, чтобы она видела в нас таких верноподанных, которые принимали ее с необыкновенным восторгом. Кончина ее была прискорбным для нас событием, и мы не знали, какую участь готовит нам царствование ее преемника...

– А между тем, хвала Господу, оно принесло нашему ордену едва ли не самые счастливые времена, – заметил Грубер. – В первые месяцы нового царствования мы блуждали точно в потемках, не зная, на кого опереться. Император Павел не выказывал нам ни расположения, ни ненависти и, казалось, не обращал на нас никакого внимания. Мы нашли, однако, покровителей при его дворе и через посредство их старались внушать государю, что устройство римской церкви вообще, и в особенности устройство нашего ордена, составляет лучшую форму выражения монархиче-

ского принципа, требуя безусловного, слепого повиновения. Внушения эти согласовались с воззрениями самого императора, на которого ужасы французской революции произвели потрясающее действие и который стал непримиримым врагом всего, что носит на себе оттенок революционных стремлений. Все это, главным образом, содействовало нашим успехам. Мы с нетерпением ожидали того времени, когда император выразит свое мнение о нашем ордене, и вот, при возвращении его с коронации из Москвы в Петербург, он, будучи проездом в Орше, посетил наш монастырь. Генеральный викарий Ленкевич, присутствующий здесь брат Вихерт и я встретили государя и всюду сопутствовали ему. Прежде чем вступить в церковь, государь высказал несколько слов, поразивших сердца наши радостию. «Я вхожу сюда, – сказал государь окружавшим его лицам, – не так, как входил со мною в Брюнне император Иосиф в монастырь этих почтенных господ. Первое слово императора, обращенное к ним, было: «Эту комнату взять для больных, эту – для госпитальной провизии!» Потом он приказал привести к нему на-

стоятеля монастыря и, когда тот явился, обратился к нему с вопросом: «Когда же вы удалитесь отсюда?» Я же, заключил Павел Петрович, поступаю совершенно иначе, хотя я и еретик, а Иосиф был римско-католический император».

– Эти слова убедили нас в милостивом расположении государя к нашему ордену и показали, что пора действовать для нас наступила, и да позволено будет мне заявить, – с жаром сказал Вихерт, – что брат наш Гавриил Грубер как нельзя более воспользовался всеми обстоятельствами для увеличения славы Божией.

– Благодарю вас, – сказал смиренным голосом Грубер, встав со своего места и поклонившись Вихерту. – Я действовал по внушению Божьему, а обстоятельства способствовали мне. Желание императора сделаться великим магистром Мальтийского ордена приблизило к нему графа Литту, встреченные графом затруднения при желании его вступить в брак с графиней Скавронской вызовут мое участие в устранении этих затруднений и доставят мне случай иметь в графе Литте ревностного по-

борника за наш орден перед лицом императора. Все устраивается так благоприятно для нашего общества, как нельзя было и предвидеть. Теперь мы стали здесь твердою ногою и уже не отступим назад ни на шаг, – с твердостью и с воодушевлением проговорил Грубер. – Нужно вести дело так, чтобы император Павел, как только русские отнимут у французов Мальту, восстановил там орден святого Иоанна Иерусалимского на прежних основаниях, и мне положительно известно, что его святейшество Пий VI, если осуществится то, о чем я сейчас сказал, намерен удалиться на Мальту и жить там под сильною защитою русского императора. Мало того, святой отец выразил состоящему при нем русскому посланнику Лизаркевичу свое намерение отправиться в Петербург, чтобы вести с государем лично переговоры о соединении церквей. Какое торжество для нашего смиренного братства, если только вспомнить, что все это подготовлено нашим рвением ко славе Божией и к прославлению нашего святого патрона!.. Мы, впрочем, успели бы гораздо более, если бы не имели такого непримиримого вра-



га, каким оказывается архиепископ Сестренцевич; поэтому все старания наши должны быть направлены к тому, чтобы не только лишить его того доверия, каким он, к сожалению, пользуется у императора, но и совершенно уничтожить его.

– Это необходимо сделать, – отозвался один из собеседников.

– Нужно только выждать благоприятную минуту, – подхватил другой.

– И нанести решительный удар, подготовив верные средства для его падения, – добавил третий.

После толков и пересудов о Сестренцевиче Грубер сделал собранию сообщения и разъяснения по тем бумагам, которые лежали у него на столе. Затем иезуиты стали расходиться от Грубера поодиночке, чтобы не навлечь на свое сборище никакого подозрения.

Последним остался патер Билли, самый ближайший человек к Груберу; когда вышли все его братья, он с таинственным видом подал Груберу небольшую записочку. Она была написана по-русски. Грубер, превосходно знавший русский язык, быстро пробежал ее

глазами и злобнорадостная улыбка промелькнула по его губам.

– Откуда вы ее достали? – торопливо спросил он.

– Сегодня утром я был у г-жи Шевалье, а к ней вчера приезжал прямо из дворца граф Кутайсов. При мне она подошла к столику и, взяв эту записку, проговорила вполголоса: какой, однако, он забывчивый, он оставил у меня записочку императора, не вспомнив об ней; а сама вместо того, чтобы приберечь ее, бросила эту записочку в кучу писем и стихов, получаемых ею ежедневно в таком огромном количестве. Со своей стороны, я воспользовался ее выходом в другую комнату, отыскал записочку императора и счел своим долгом доставить ее вам. Госпожа Шевалье так рассеянна я забывчива, что, вероятно, не вспомнит, куда дела записочку, а вам, быть может, она пригодится.

– Даже и очень, – пробормотал про себя Грубер.

### XIII

— Неутешительные, слишком неутешительные для нас известия приходят беспрестанно с запада... Господь Вседержитель во гневе своем подвергает святую церковь тяжким испытаниям, — глубоко вздохнув и обращаясь к своему собеседнику, проговорил аббат Грубер, сидевший в своем кабинете за письменным столом, заваленным книгами, бумагами и письмами.

Горевшие на столе, под зеленым тафтяным колпаком, две свечи слабо освещали большую комнату, но и в этом полумраке заметно выдавалось бледное лицо старика и его большие глаза, внимательно и пытливо устремленные на собеседника.

— Правда ваша, господин аббат, тяжелые времена наступили для Христовой паствы. Революционному потоку, как кажется, не будет пределов, и он скоро охватит собою всю Европу, — с чувством отозвался разговаривавший со стариком молодой, высокий и статный мужчина, одетый в красный кафтан с большим мальтийским крестом, висевшим на

шее на широкой черной ленте.

– Да, революционное движение охватит всю Европу за исключением России, которая не только останется спокойна, но, быть может, сделается твердым оплотом для поддержания святой римской церкви. Я знаю настоящий образ мыслей императора Павла и вполне убежден, что если удастся окончательно повлиять на него, то он не только сдержит этот бурный поток, но и обратит его вспять; нужно только как следует приняться около него за дело.

Сказав это, старик встал с кресла и, бордо выпрямившись, продолжал:

– Наше общество – Общество Иисуса – усердно трудится с этой целью при здешнем дворе, и ваш священный орден должен был бы работать деятельно в тех же самых видах. Вы, почтенный балли, достойный его представитель, приобрели особенное благоволение и чрезвычайное доверие императора; нужно воспользоваться этим поскорее, так как вам, конечно, известно, до какой степени характер государя непостоянен и изменчив. Император Павел – одна из самых кипучих натур, и

потому он так быстро увлекается сегодня одной, а завтра другою и иногда совершенно противоположною идеею. Вы будете в ответе перед Богом, если не воспользуетесь настоящими благоприятными обстоятельствами и ненавистью императора к республиканцам. Праведный судия накажет вас за это, – произнес аббат пророческим голосом, грозно указывая вверх рукою. Вы, конечно, помните ваши рыцарские обеты? – сурово добавил он.

– Я очень твердо помню их, господин аббат, но... но... – заминаясь отозвался мальтийский кавалер.

– Значит, те сведения, которые имеются у меня относительно вас, вполне справедливы? – гневно перебил аббат. – Значит, тот, чьи предки так доблестно в продолжение многих веков служили римскому престолу и священному ордену, изменили теперь и тому и другому...

– Литта никогда не будет изменником, – твердым и громким голосом возразил мальтийский кавалер. – В крайнем случае он делает только то, что вправе и даже обязан сделать каждый честный человек: он явно и тор-

жественно отречется от того обета, который он прежде принял на себя и переносить который он теперь не в силах...

– И отдаст церковь Божию и священный рыцарский орден на поругание и растерзание врагам Христовым в то время, когда сам Господь посылает ему средства спасти от гибели и церковь, и орден... – запальчиво перебил иезуит. – Какой позор!.. Какое страшное преступление!.. – с выражением ужаса добавил он.

– Я лучше предпочту явно отречься от моего обета, нежели тайно нарушать его, прикрываясь лицемерием, – горделиво сказал Литта. – В искреннем сознании своей слабости нет, как мне кажется, ни позора, ни преступления...

На губах иезуита скользнула язвительная улыбка, насмешливым взглядом окинул он Литту и, нагнувшись над письменным столом, начал рыться в бумагах. Долго с видом совершенного равнодушия копался он в грудe бумаг и, приискав листок, на котором было написано несколько строк, подал его Литте.

– Вам знаком этот почерк? – спросил Гру-

бер.

– Если не ошибаюсь, это почерк императора! – отвечал Литта. – Но я не могу понять этой записки, так как она написана по-русски.

– Вы не ошиблись: эти строки написаны его величеством, а вот и буквальный их перевод, – сказал аббат, подавая графу другой листочек бумаги. Литта быстро пробежал глазами этот листочек, и на лице бальи выразилось изумление.

– Этого не может быть!.. Императору до нее нет никакого дела, – проговорил он взволнованным голосом.

– Значит, вы обвиняете меня и в подлоге, и в подделке, – сказал равнодушно аббат и, взяв из рук Литты листки, спрятал их в ящик письменного стола. – Беседа наша кончилась, господин бальи, – добавил он, кланяясь вежливо графу.

– Я слишком далек, достопочтенный аббат, не только от подобного обвинения, но даже и от подобного предположения, но вы сами могли быть введены в заблуждение...

– Когда государь удостоил вас в первый раз

беседы, ведь он спросил вас: давно ли знакомы вы с графиней Скавронской?..

– Спросил, но что же из этого следует?.. – с живостью прибавил Литта.

– Вы ему рассказали о вашем знакомстве с графиней, и чем его величество заключил этот разговор? – добавил иезуит, вопросительно смотря на Литту.

– Государь проговорил только «гм»...

– Но знаете ли, как много значит в его речи этот, по-видимому, ничтожный звук?.. Впрочем, – продолжал Грубер, принимаясь снова рыться в бумагах, лежавших на столе, – вот вам еще одна новость; она, конечно, крайне неприятна для вас, и хотя вы узнаете ее и помимо меня, но тем не менее я считаю нужным предупредить вас на всякий случай. Потрудитесь прочитать вслух это известие, – и аббат с этими словами подал Литте листок бумаги.

– «Директория, – начал читать по-французски Литта, – издает на днях декрет об обращении Верхней Италии в Цизальпинскую Республику, причем все имущества, принадлежавшие церкви, монастырям, дворянству и



Мальтийскому ордену, будут отняты у нынешних их владельцев и объявлены собственностью народа».

Литта вздрогнул.

– В верности этого сообщения несколько не сомневайтесь, любезный граф. Общество Иисуса не получает никогда ложных известий... Итак, вы лишаетесь разом трехсот тысяч франков ежегодного дохода, получаемого вами с двух ваших командорств... Нечего сказать, королевское было у вас богатство!.. Весьма редкие счастливицы располагают таким громадным состоянием... А ваш великолепный фамильный палаццо в Милане, ваши наследственные замки и земли в Италии?.. Все это исчезнет из рода графов Литта, равнявшегося по древности, знатности и богатству с знаменитым домом Висконти... И кому достанется все это богатство? – безумцам, так дерзко попирающим и Божеские законы, и государственные установления. Будем же мы стараться изо всех сил, – продолжал Грубер, дружески протягивая Литте свою костлявую руку, – убедить императора Павла возвратить алтари Богу и престолы государям...

– Но, честный отец, – заговорил Литта, нерешительно подавая иезуиту свою руку, – я предварительно должен вам сознаться с полной откровенностью, что я нахожусь в страшном, мучительном положении... Будьте моим духовником, вот вам моя исповедь: несколько лет тому назад я непреодолимо был увлечен одною молодою женщиною; я думал заглушить мою страсть к ней и разнообразною деятельностью, и странствованиями по морям и по суше, и боевою и монашескою жизнью, но убедился, что все усилия мои бесполезны. Я еще колеблюсь, но, кажется, решусь, наконец, оставить орден, чтобы быть свободным и сделаться мужем женщины, которая так дорога для меня...

– Неужели, благородный мальтийский рыцарь, она дороже тебе твоих рыцарских обетов? – спросил аббат с выражением насмешливого укора.

– Да, дороже!.. – твердо отвечал Литта.

Старик пожал плечами.

– Но не дороже же она тебе, благородный рыцарь, ожидающего тебя небесного блаженства? – возразил он так уверенно, что, каза-

лось, на этот вопрос можно было получить только желаемый ответ.

– Дороже!.. – задыхаясь от сильного волнения, проговорил Литта.

Иезуит заткнул руками уши и замотал голову. Он, казалось, не мог перенести такого дерзко-откровенного ответа со стороны благородного рыцаря-католика.

– Легкомысленный безумец, ты богохульствуешь... – как будто про себя проговорил аббат. – Но если вы, достопочтенный бальи, – заговорил он, обращаясь к Литте, – и вышли бы из ордена, то мечты ваши насчет брака с графиней Скавронской все-таки не осуществятся. Вам известно уже содержание той записочки, которую я показал вам, и, следовательно, теперь вы знаете затруднения, какие вы встретите при исполнении вашего предположения. Император, по причинам никому не понятным, не желает, чтобы графиня вступила во второй брак...

– Но она – совершенно свободная женщина, и я полагаю, что никто не может препятствовать ей располагать собою так, как она сама пожелает... – раздраженным голосом

отозвался Литта.

– Вы так думаете, но я скажу вам, что вы жестоко ошибаетесь. Здесь, в России, власть государя не имеет пределов. Неповиновение его воле может навлечь на ослушника страшные последствия. Примите в соображение, что графиня Скавронская в случае вступления ее с вами в брак, не дозволенный императором, может лишиться всего своего огромного состояния. В свою очередь, и вы, один из первых богачей Италии, утратите вскоре ваше наследственное богатство, а графиня, как вам должно быть известно, слишком избалована роскошною жизнью. Какая же будущность предстоит ей в супружестве с вами? Хотя она – еще очень молодая женщина, но все же для нее миновала уже пора безотчетных увлечений, вы – тоже не юноша, для которого любовь – единственное блаженство в жизни. Имейте в виду только одно, что брак ваш с графиней будет не угоден императору и что вследствие этого...

– Государь строг, вспыльчив, и пожалуй, причудлив, но вместе с тем он отличается рыцарскими чувствами в отношении женщин,

и потому графиня Скавронская может быть вполне безопасна от всяких со стороны его преследований, хотя бы она и нарушила его волю...

– Я допускаю, что в отношении к ней император поступит снисходительно, но разве вы можете быть уверены, что он, узнав о вашем намерении идти наперекор ему, не распорядится о высылке вас из Петербурга в течение нескольких часов? – внушительно заметил аббат.

– Этого не может быть! – с жаром перебил Литта, – государь не решится на подобную меру...

– Пусть будет так, как вы говорите, но подумайте, божий воин, что вы из любви к женщине, и притом схизмагичке, решаетесь покинуть орден и сложить с себя принятые вами священные обеты, т. е. нарушить клятву, данную вами во имя Господа!.. Остается сожалеть, что и церковь, и рыцарство лишаются в тяжкие для них дни поборника, на которого они могли так твердо полагаться. Подумайте, однако, граф, до какой степени вы вашим неожиданным поступком нарушите доверие,

оказанное знаменитой вашей фамилии и орденским капитулом, и святым отцом. В столице русской империи вы – первенствующий представитель древнего, теперь гибнущего рыцарского ордена; неужели вы не чувствуете угрызения совести за то, что оставляете это священное учреждение в то время, когда ему всего нужнее иметь надежных защитников?.. Брат ваш, в качестве нунция, состоит здесь представителем апостольского престола; подумайте только о том, в какое прискорбное положение вы поставите его вашим выходом из ордена, непосредственно подвластного святейшему отцу? Нет, вы не решитесь на это: пример ваш будет пагубен для Мальтийского ордена; другие могут последовать за вами, и знаменитый орден святого Иоанна Иерусалимского падет, на радость врагам Христовой церкви, из-за каких-то романтических похождений бальи графа Юлия Литты... Вы непременно должны остаться в ордене и служить ему с таким же усердием, с каким служили прежде...

– Но это невозможно, уставы ордена не допускают моего брака... – возразил Литта.

– Вы ссылаетесь на уставы вашего ордена: но позвольте спросить вас: соблюдаете ли вы самые существенные из них? По этим уставам вы дали три главные обета: смирения, нищеты и целомудрия. Хорошо, однако, смирение, когда вы украшаетесь почетным титулом и жалуемыми вам орденами! А ваш торжественный въезд в здешнюю столицу разве был выражением смирения?.. Вы дали обет нищеты, а сами между тем пользуетесь тремястами тысяч ежегодного дохода! Наконец, какое значение имеет для вас обет целомудрия, если все ваши мечты направлены на пленившую вас красавицу?..

Литта молча слушал аббата, который продолжал:

– Уставы действительно не допускают вашего брака; но разве не существует в Риме в лице наместника Христова власти превыше всяких уставов?.. Доверьтесь мне, и я ручаюсь, что его святейшество разрешит вам в виде особого исключения вступить в брак, дозволив вам при этом оставаться по-прежнему в рыцарском звании... Святой отец не откажет в этом, если признает, что подобной

уступки требует настоящее положение орденна, а вы, с вашей стороны, не преминете заслужить беспредельною преданностию церкви ту необыкновенную милость, какую окажет вам святейший Пий VI...

– Я полагаю, что попытка склонить его святейшество к подобному отступлению от орденского устава не будет иметь никакого успеха... – безнадежно проговорил Литта.

– А я так не сомневаюсь в успехе, – самоуверенно заметил аббат.

– Но кроме того, здесь встречается еще и другое препятствие... – заговорил Литта.

– Нежелание государя, чтоб графиня Скавронская вступила во второй брак? Пожалуй что, устранить это препятствие будет труднее, нежели получить согласие его святейшества. Следует, однако, попытаться: нужно будет уловить благоприятную минуту для объяснения с императором по этому предмету. Я, к удивлению вашему, любезный граф, буду с вами вполне откровенен; говорю «к удивлению», так как все убеждены, что откровенность не в правилах нашего общества. Это правда, но бывают случаи, когда приходится



отступать от этого. Вы знаете, какое положение занял я при императоре: только граф Кутайсов и я, скромный аббат, имеем право входить к его величеству без доклада во всякое время. Такое исключительное право дает мне возможность постоянно беседовать с государем и вести с ним разговор, применяясь к настроению его духа. Я прежде всего воспользуюсь удобным случаем, чтобы устроить ваше дело, в возмездие за это я потребую от вас полного, неразрывного со мною союза единственно для блага святой церкви. Вы согласны на это?..

– Согласен... – проговорил Литта.

На лице аббата мелькнуло выражение удовольствия; он обнял Литту и громко поцеловал его в обе щеки.

## XIV

При наступлении каждой осени император Павел Петрович переезжал на некоторое время в Гатчину. Имение это вскоре по вступлении на престол Екатерины II было пожаловано князю Григорию Григорьевичу Орлову. Когда новый владелец получил Гатчину, там находилась только небольшая мыза, к которой было приписано несколько чухонских деревушек с сенокосами и пашнями. Орлову чрезвычайно понравилась Гатчина, как местность, бывшая в ту пору самым удобным пригородным местом для охоты. Там сперва он выстроил небольшой каменный дом, так называемый ныне «приорат», сохранившийся и теперь в первоначальном виде. Архитектура этого строения напоминает небольшой замок средневекового барона. Все это здание составлено как будто из отдельных, слепленных между собою домиков с высокими покатыми кровлями, на гребнях которых в виде украшений виднеются шары и железные флюгеры. Над зданием возвышается высокая круглая башня с остроконечною крышею. Небольшой

этот замок стоит среди берез, елей и сосен и красиво смотрится в запруду, вода которой подходит под самый его фундамент.

Орлов не удовольствовался этим тесным жилищем и в 1766 году принялся строить в Гатчине по плану знаменитого архитектора Ринальди громадный дворец наподобие старинного замка, с двумя высокими башнями по углам. Весь дворец строили из тесаного камня, и постройка его продолжалась пятнадцать лет. Он бы окончен в 1781 году, и тогда Гатчина, на которую были затрачены Орловым несметные суммы, сделалась самым великолепным частным имением в окрестностях Петербурга. Роскошная меблировка комнат, собрание картин, статуй, древностей и разных редкостей придавали жилищу князя Орлова вид настоящего царского дворца. Через громадный парк, наполненный старыми развесистыми дубами, вился ручей, прозрачный до такой степени, что, когда его запрудили и обратили в обширные пруды, то на дне их, на двухсаженной глубине, можно было видеть каждый камешек. Весь Петербург в восьмидесятых годах прошлого столетия заго-

ворил о Гатчине как о чем-то еще небывалом и невиданном, а приезжавшие в северную нашу столицу иностранцы спешили взглянуть на роскошь, окружавшую вельможу-помещика. Недолго, впрочем, привелось князю Орлову пользоваться этою роскошью: в 1773 году он умер в припадке страшного бешенства, и императрица, купив Гатчину у наследников князя, подарила это имение великому князю Павлу Петровичу.

В продолжение тринадцати лет Гатчина была постоянным местопребыванием наследника престола, и, так как он не любил приезжать в Петербург, то жил здесь и зимою. В это время Гатчина стала обращаться в маленький городок, обстраивавшийся по регулярному плану, одобренному ее владельцем. Будучи императором, Павел любил проводить осень в Гатчине, устраивая в окрестностях ее большие маневры. В Гатчину он приглашал гостей из Петербурга, а иногда вызывал оттуда к себе сановников, с которыми желал заняться в уединении какими-либо особенно важными делами.

В одно из таких его пребываний в Гатчине,

ранним осенним утром, когда только что начинало рассветать, в приемной государя, находившейся в нижнем этаже дворца, были два посетителя. Один из них мужчина лет шестидесяти, но еще бодрый и статный, с заметной выправкой военного служаки, был одет в суконный кафтан пурпурового цвета, доходивший почти до пяток; на нем были шерстяные чулки такого же цвета, а на голове бархатная скуфейка, подходившая под цвет кафтана. Его смелый взгляд, его добродушное лицо и яркая одежда казались совершенною противоположностью тому, что представлял собою другой посетитель императорской приемной. Этот последний был какой-то съезжившийся старикашка, сутуловатый, с огромною, не соответствующею его росту головою, в его больших и темных глазах, опущенных вниз, виднелся какой-то зловеший блеск. Одетый в длинную черную поношенную сутану, т. е. в рясу католических священников, с огромной черной войлочной шляпой в руках, он стоял в углу приемной, смиренно прижавшись к стене и сложив опущенные вниз руки, как будто стараясь выказать свое ничтожество перед

другим посетителем, который горделиво расхаживал по приемной твердыми и мерными шагами и время от времени, останавливаясь у окна, пристально посматривал на площадь, ожидая чьего-то на ней появления. Заметно было, что оба посетителя царской приемной не только не чувствовали взаимного влечения, но и тяготились присутствием один другого, уклоняясь от всякого разговора.

Приемная государя была небольшая комната в два окна, выходявших на полукруглый коридор, обращенный окнами на площадь. Белые из простого полотна, низко опущенные занавесы с широким шерстяным басоном и такую же бахромою отнимали много света у этой и без того уже довольно мрачной комнаты. На стенах ее висели в золоченых рамах большие почерневшие от времени картины, а все убранство ее состояло из простых деревянных, окрашенных темною краскою стульев, обитых зеленою кожею, и простого о двух складных половинках стола. С потолка спускалась люстра в виде стеклянного круглого фонаря с одною свечою, а в простенке между окнами было большое в вызолоченной

раме зеркало. Как-то неприветливо и сурово, особенно среди мертвой тишины, выглядывала эта царская приемная, и много в ней в разное время было перечувствовано и волнения, и страха, да и настоящее ее посетители, несмотря на их наружное спокойствие, не без тревожного биения сердца поджидали появления государя. Оба они встrepенулись и вопросительно взглянули друг на друга, когда на гауптвахте, расположенной под окнами приемной, раздался барабанный бой, возвещавший о приближении ко дворцу императора.

Чрез несколько минут камер-лакей растворил настежь двери, и в приемную вошел Павел Петрович. По лицу его было заметно, что он находился в отличном расположении духа. Он живо отдал лакею свою огромную треуголку, высокую камышовую форменную трость и снял с руки перчатки с большими раструбами.

– Извините меня, ваше высокопреосвященство, – сказал он по-русски, обращаясь к посетителю, одетому в пурпур, – что я заставил вас несколько подождать против назначенно-

го вам времени.

Ответом на эти милостивые слова был глубокий поклон высокопреосвященного, который, почтительно преклонив колени, поцеловал руку, протянутую ему государем.

– А перед вами, господин аббат, я и не извиняюсь: вы у меня – человек домашний, а с близкими мне людьми я не стесняюсь, зная, что они сами извинят меня, – сказал император, дружески потрепав по плечу Грубера, который, сложив на груди крестом руки и потупив глаза, низко-пренизко склонил свою большую голову перед обласкавшим его государем, а вслед за тем искоса бросил надменно-злобный взгляд на величавого прелата. – Когда имеешь у себя под рукою военную команду, то с нее не следует спускать глаз, – заговорил император. – Я обошел теперь все караулы, заглянул всюду и нашел все и везде в полной исправности. Это мне чрезвычайно приятно, а вместе с тем и понятно, так как только постоянным наблюдением можно поддержать порядок по военной части. Вы, ваше высокопреосвященство, – продолжал государь, обращаясь к прелату, – хорошо пони-



маете это дело; вы человек военный и, как я слышал, были когда-то отличным кавалеристом и лихим рубакою. Вы кем были: гусаром или уланом?..

– И тем, и другим, – приосанившись, бойко отвечал высокопреосвященный, – а теперь, государь, – добавил он, склоняя скромно голову, – я – смиренный служитель алтаря Господня...

– Ну, уж и смиренный! – засмеявшись, подхватил император. – Вы – настоящая *ecclesia militans* – воинствующая церковь, вы беспрепятственно воюете с этими черноризцами, – шутливо добавил государь, показывая глазами на аббата, стоявшего неподвижно с выражением беспредельного смирения на лице.

– Впрочем, – продолжал Павел Петрович, – я могу отдать каждому из вас должную справедливость. Вы, господин аббат Грубер, как начальник общества Иисуса в России, приносите великую пользу юношеству, воспитывая его в страхе Божиим и в повиновении предрержащим властям. Вы, высокопреосвященный митрополит Сестренцевич, служите государству как верный и благочестивый пастырь

церкви Христовой. Вы, охраняя ее неприкосновенные права, не пытаетесь в то же время, по примеру других католических иерархов, исхитить ее из-под верховной власти государя и не даете много воли вот этим господам, – сказал император, с ласковою улыбкой погрозив пальцем аббату.

– Я стараюсь, государь, по мере моих сил исполнить завет божественного нашего учителя: воздать Божие Богови, и кесарю кесареви, – проговорил митрополит твердым и звучным голосом.

– Прекрасно говорите и превосходно делаете; поступайте всегда так. Моя покойная матушка недаром ценила ваши достоинства и заслуги. Она старалась, чтоб его святейшество возвел вас в сан кардинала, но римская курия заупрямилась. Она опасалась, что в России князь римской церкви не будет пользоваться подобающим ему почетом. Вследствие такого отказа я сам облек вас в кардинальский пурпур и настоял у папы, чтоб одежда эта была удержана и за вашими преемниками. Не знаю, как будут они носить ее, но вы носите ее как честный человек, а это много значит в

моих глазах. Опасения же святого отца были напрасны, в особенности в настоящее время. Теперь дело идет не о спасении той или другой церкви в отдельности, но о спасении христианства вообще. Ныне не время спорить о церковных несогласиях, и если французские революционеры осуществят свои дерзкие замыслы, если они овладеют Римом и низвергнут папу, я силою моего оружия восстановлю престол римского первосвященника... Да, я восстановлю его! – решительным голосом добавил император.

Говоря это, Павел Петрович волновался все сильнее и сильнее, глаза его блистали, и обыкновенно сиповатый его голос громко раздавался на всю комнату.

– Великодушию вашего величества нет пределов!.. – порывисто отозвался Сестренцевич. А между тем аббат, оставаясь, как и прежде, неподвижным, казалось, обдумывал что-то, слегка шевеля своими тонкими губами.

– Я решил начать с того, что поддерживаю Мальтийский орден. Он – такое учреждение, к которому я с самого детства питал глубокое

уважение. Помню, как я еще ребенком, после того как мой наставник Порошин прочел мне несколько глав из истории этого ордена, играл, воображая себя мальтийским рыцарем. Потом я сам прочитывал несколько раз книгу аббата Верто и убедился, что орден этот заслуживает и сочувствия, и поддержки со стороны всех христианских государей. Чрезвычайно прискорбно для меня только то, что разные интриги, происки и личные раздоры препятствуют мне осуществить мои планы так, как я хотел бы это сделать, и извините меня и вы, высокопреосвященный владыко, и вы, достопочтенный господин аббат, если я прямо скажу вам, что я отчасти и вас обоих считаю виновниками моих неудач. Вы оба – служители одной и той же церкви, а между тем вы не уживаетесь между собою и не действуете в духе братского единомыслия...

– Это потому, ваше величество... – перебил его с живостью митрополит.

– Подождите, ваше высокопреосвященство, я еще не кончил, – строго сказал император и повелительным движением руки дал знать прелату, чтобы он замолчал. – Почему

бы то ни было, но этого не должно быть, и я советую вам прекратить ваши раздоры, – заключил император, обводя грозным взглядом и митрополита, и аббата.

Из них первый не смутился нисколько от такого сурового внушения и, казалось, делал над собою усилие, чтобы воздержаться от прямодушных объяснений с государем. Между тем лицо иезуита судорожно передернулось и сделалось еще бледнее, и он злобно исподлобья взглянул на своего противника.

– Чтобы восстановить между вами мир, я пригласил вас к себе, но об этом мы поговорим после, а теперь пойдемте наверх позавтракать – вы будете для меня приятными гостями. Да, кстати, вы, ваше высокопреосвященство, кажется, не были в этом дворце после его переделки, так я покажу его вам,

– сказал император с тою приветливою любезностью, какою отличалось его обращение, когда он бывал в духе и желал выразить кому-нибудь свое благоволение.

Из приемной, через небольшую темноватую комнату, Павел Петрович и его гости вышли на парадную мраморную лестницу,

устланную великолепным ковром. На стенах лестницы были нарисованы *al fresco* виды Павловска и Гатчины; на одной из этих картин был представлен император, ведущий под своим начальством отряд Павловского полка. Они прошли чесменскую галерею, в которой были развешаны картины, изображавшие некоторые эпизоды из морского сражения на Чесме. Затем они перешли в греческую галерею, наполненную древними статуями, бюстами и вазами, и зашли в оружейную, где еще при князе Орлове начала собираться коллекция разного оружия. Покои гатчинского дворца отличались великолепием: всюду блестела позолота, лоснился мрамор, виднелись и лепная работа, и плафоны, расписанные кистью искусных художников, и штучные полы из разноцветного дерева. В тронной – небольшой, впрочем, комнате – стоял между окон на возвышении в три ступени обтянутый алым сукном трон императора, вызолоченный и обитый малиновым бархатом с вышитым на спинке его двуглавым орлом. Трон был осенен балдахином из такого же бархата, с тяжелою золотою бахромою

и большими золотыми кистями. На стенах тронной были развешаны драгоценные гобелены, на которых по одной стене было изображено путешествие дикаря в паланкине, а по другой – бой тигра с пантерой. В соседней с тронною комнате, называвшейся гостиною, находилась великолепная золоченая мебель с шелковою обивкою, а по стенам гостиной висели замечательные по художественному исполнению рисунка гобелены с изображением сцен из походов Дон-Кихота. Рядом с гостиною была спальня императрицы. Комнату эту разделяла поперек белая деревянная с позолотою балюстрада, за которою находилась постель государыни, прикрытая тяжелым покрывалом из серебряной парчи с голубыми разводами; из такой же материи был сделан над постелью балдахин. Бальная зала была обделана белым каррарским мрамором с сероватыми мраморными же колоннами, а стены были обставлены диванчиками, стульями и табуретами из белого дерева, обитыми серебристо-белым штофом. Изящный вкус и роскошь были заметны на каждом шагу в этих сперва княжеских, а потом царских чер-

тогах.

На половине императрицы была также тронная зала; но трон государыни был гораздо меньше и ниже и не отличался таким пышным убранством, как трон императора. В столовой, где был приготовлен завтрак, висели по стенам написанные масляными красками виды тех городов и местностей, которые в особенности понравились Павлу Петровичу, когда он, будучи еще великим князем, путешествовал вместе с супругою по Европе под именем графа Северного. Государь оказался чрезвычайно любезным и внимательным хозяином, он занимал и митрополита, и аббата то серьезными, то веселыми рассказами и в беседе своей обнаруживал и замечательную начитанность, и громадную память.

После завтрака он предложил гостям спуститься вниз в его рабочий кабинет, где находились бумаги, по поводу которых он хотел переговорить с ними. Сойдя с лестницы и пройдя приемную, в которой Сестренцевич и Грубер недавно ожидали его, император ввел митрополита и аббата в просторную комнату. Перед входными ее дверями, под большим



портретом Петра Великого, который был изображен скачущим на коне, стоял трон, обитый малиновым бархатом. Все стены этой комнаты были увешаны картинами и портретами, и между этими последними останавливал на себя внимание поясной портрет фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, с пудреной головой, в стальных латах, с накинутою поверх их черною рыцарскою мантиею и с мальтийским крестом на шее. Дверь из этой комнаты вела в кабинет государя, не отличавшийся ни удобством, ни роскошным убранством. Там, на овальном столе, поставленном перед диваном, лежала кипа бумаг; войдя в кабинет, государь запер на ключ двери и затем, садясь на диван, предложил митрополиту и аббату занять кресла, стоявшие по сторонам дивана.

Началась деловая беседа. В соседней комнате можно было бы слышать решительный и твердый голос государя, говорившего с сознанием своей могущественной власти, но голос этот был порою покрываем звучным и смелым голосом прелата, а в промежутках изредка слышался тихий и вкрадчивым голос

иезуита.

Беседа длилась около часа, после чего митрополит вышел из кабинета государя, покрасневшись и сильно взволнованный. Он отдал легкий поклон встретившемуся ему в приемной графу Кутайсову. Следом за митрополитом вышел из кабинета с обычным спокойным выражением лица аббат Грубер. Увидев Кутайсова, он подошел к нему с почтительным поклоном и, проводив глазами выходявшего из приемной Сестренцевича, завел с любимцем государя шепотом речь о только что кончившейся аудиенции...

## XV

Возвращаясь в Петербург из Гатчины, аббат во время пути тщательно обдумывал, как бы передать графу Литте о беседе, происшедшей в кабинете государя. Он находил неудобным сообщать об этом с полною откровенностию, так как тогда пришлось бы, между прочим, упомянуть и о тех не слишком благоприятных для иезуитского ордена отзывах, которые в продолжение беседы высказывались императором, хотя как будто и без всякого с его стороны желания опорочить иезуитов. Аббат догадывался по некоторым намекам, вырвавшимся у Павла Петровича, что около императора находятся лица, не слишком благосклонные к обществу Иисуса, и что они стараются внушить государю недоверие к этому учреждению, выставляя те опасности, какие могут угрожать России вследствие участия иезуитов в воспитании русского юношества. Грубер понимал, что если рассказать Литте решительно все, как было, без утайки, переиначки и без некоторых прибавлений и прикрас, то Литта может прийти к заключе-

нию, что главный представитель ордена иезуитов в России далеко не пользуется у императора тем значением, какое приписывают ему в общественной молве, и что положение его довольно шатко. Между тем искательному иезуиту нужно было прежде всего убедить бальи как представителя Мальтийского ордена в той силе, какую имеет у государя представитель общества Иисуса. Грубер после своей побывки вместе с Сестренцевичем в Гатчине должен был окончательно убедиться, что самые злейшие и опаснейшие враги иезуитского ордена могут находиться среди римско-католического духовенства и что во главе таких врагов должно считать архиепископа Могилевского и митрополита всех римско-католических церквей в России Станислава Сестренцевича. В ушах аббата явственно слышалась смелая речь прямодушного прелата, который, не стесняясь несколькими присутствием одного из первенствующих представителей иезуитизма, решился указывать государю на тот страшный вред, который последователи Игнатия Лойолы наносят всегда и всюду своими подпольными кознями и государству, и обще-

ству. Сестренцевич, побуждаемый непримиримую ненавистью к иезуитам, говорил обо всем этом с такою беспощадною резкостью и неумеренною запальчивостью, что государь несколько раз то ласково, то строго сдерживал чересчур расходившегося сановника римской церкви. Несмотря на такую благосклонность государя, Груберу нельзя было не опасаться того влияния, какое могли произвести доводы митрополита на впечатлительного Павла Петровича. Хотя при посредстве императора, или, вернее сказать, по его требованию, противники в знак примирения подали друг другу руки и поцеловались, но вследствие этого взаимная вражда их не уменьшилась нисколько, и в то время, когда облеченный в кардинальский пурпур бывший гусар и улан надеялся расправиться когда-нибудь с своим противником по-военному, без всяких интриг и пролазничества, тонкий иезуит находил более удобным пускать в ход и ловкую уступчивость, и притворство, чтобы тем легче запутать, а потом и погубить своего противника, рубившего, по старой привычке, сплеча, без всякой оглядки. Когда император

выразил желание, чтобы распря между митрополитом и иезуитским орденом кончилась, Грубер с смиренным видом поспешил высказать, что он помнит всегда ту громадную разницу, какая, по уставам церкви, существует между им, простым священником, и главенствующим в стране епископом, что если он порою позволяет себе не соглашаться с мнением его эминенции, то это происходит единственно оттого, что он, Грубер, по крайнему своему разумению, понимает несколько иначе папские буллы и считает нужным охранять их неприкосновенность и что, наконец, он с сокрушенным сердцем готов просить у митрополита прощения, если он чем-либо, без всякого, впрочем, с своей стороны умысла, мог прогневить достойного архиепископа.

При дворе и в высшем петербургском обществе пронырливый и искательный Грубер приобрел огромное влияние, и он пользовался этим для того, чтобы всюду, где только было можно, расставлять тайные сети, ловя ими добычу и захватывая прибыль для своего ордена. Находившиеся в Петербурге иностранные дипломаты, видя то положение, какое

успел занять Грубер в России, заискивали его расположения, считая его одним из пригодных орудий для достижения своих целей. Австрийский посланник граф Кобенцель, представитель королевской Франции граф Эстергази и посланник короля неаполитанского герцог де Серра-Каприоли постоянно были готовы к услугам скромного аббата, который, кроме того, успел завести обширные сношения и тесные связи с влиятельными людьми и вне Петербурга, почти во всех государствах Европы.

Следуя издавна принятой иезуитским орденом системе, Грубер прежде всего захотел установить влияние ордена на воспитание молодого поколения. Пользуясь дозволением императора Павла Петровича жить в Петербурге, иезуиты учредили здесь свой капитул и открыли при нем училище и пансион, о которых вскоре распространилась в высшем обществе столицы самая лестная молва и главным начальником которых был сделан Грубер. Обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали ему: по присоединении Западного края к России, польские магнаты приезжали

беспрестанно в Петербург; одни из них для того, чтобы, представившись новому своему государю, обратить на себя его милостивое внимание, другие являлись сюда с политическими целями, домогаясь удержать в присоединенном крае прежние порядки; третьи приезжали хлопотать по своим частным делам и тяжбам и, наконец, четвертые навещали Петербург с тою целью, чтобы приискать для себя в России богатых и знатных невест. Император Павел чрезвычайно благосклонно принял поляков, и из числа их граф Илинский был одним из самых близких к нему людей. Приехавшие в Петербург богатые пань очень охотно отдавали своих сыновей на воспитание к Груберу, в заведуемый им иезуитский пансион; примеру их стали подражать и русские бары, так что вскоре заведение это наполнилось мальчиками из самых знатных в ту пору русских фамилий. Аббат воспитывал своих питомцев в строгом католическом духе, желая более всего подготовить в них будущих деятельных пособников иезуитского ордена.

Материальные средства иезуитского ордена в России в ту пору были громадны. В при-



соединенных от Польши областях он в общей сложности владел на праве помещика 14 000 крестьян и, кроме того, располагая собственными капиталами более чем на полтора миллиона тогдашних серебряных рублей, независимо от разных доходов, пожертвований и приношений, постоянно присылавшихся в его кассу в огромном количестве. Большая часть всего этого назначалась жертвователями на устройство учебных и воспитательных заведений под попечением иезуитского ордена. Вообще положение общества Иисуса в России во время управления им аббата Грубера было чрезвычайно блестяще, и орден благодаря ловкости и энергии аббата стал приобретать силу. Мало-помалу аббат вошел во все знатные русские дома в Петербурге: в одном он являлся умным и занимательным гостем, в другом – мудрым советником по разным делам, в третьем – другом семейства, в четвертом – врачом, в пятом – красноречивым проповедником, глаголам которого русские барыни внимали с особым благоговением. Короче, в царствование императора Павла Петровича иезуит Грубер был одною из самых заметных

личностей в высшем петербургском обществе.

Поддержке иезуитского ордена в России содействовали немало и прибывшие в Петербург из Франции эмигранты. И при дворе, и в высшем русском обществе смотрели на них как на неповинных ни в чем страдальцев, принужденных покинуть родину и лишенных всего достоинства вследствие злобы и ненависти богомерзких якобинцев. Громкого родового имени, даже частицы «de» перед фамилиею и заявления о несокрушимой преданности королевскому дому Бурбонов и старому монархическому порядку достаточно было для того, чтобы каждому французу был открыт прямой доступ к императору, который охотно предоставлял им высшие военные и почетные придворные должности. Все эмигранты кляли в один голос революцию, ниспровергнувшую религию сперва во Франции, а теперь угрожавшую тем же самым и во всей Европе. В охранении католической церкви они видели единственное средство к восстановлению политического порядка и сильно рассчитывали на помощь в этом случае со

стороны иезуитского ордена. При таком положении дел аббат Грубер находил самых деятельных для себя пособников и среди являвшихся в Петербург французских эмигрантов, пользовавшихся большим влиянием в придворных сферах.

Покровительство, оказанное императором Павлом Петровичем Мальтийскому ордену, не без основания считали явным выражением его желания поддержать католическую церковь на западе Европы, разумеется, не столько для собственного благосостояния, сколько для водворения политического порядка, столь долго процветавшего там в неразрывной связи с господством этой церкви. Грубер понимал ту благоприятную обстановку, в какой он находился, и решился повести исполнение своих планов самым энергичным образом.

Понадумавшись хорошенько, взвесив и рассчитав каждое слово, он вечером в день своего приезда из Гатчины отправился к Литте.

– Наша святая церковь, ваш орден, а также лично и я, и вы имеем самого опасного врага

там, где, по-видимому, всего менее можно было ожидать его, – заговорил тихим, подавленным голосом иезуит после того, как рассказал Литте в общих словах о свидании с государем.

Литта с выражением беспокойства посмотрел на аббата.

– Я говорю о здешнем митрополите, – продолжал Грубер, – он не пастырь, полагающий душу за овцы, а хищный волк, вкравшийся в овчарню Христову. Он внушает государю поставить в делах церкви светскую власть выше духовной и под покровом этой власти хочет управлять произвольно, и должно опасаться, что под его влиянием император может отказаться от той защиты, которую он пока готов оказать и его святейшеству папе, и вашему ордену, и вообще христианству на Западе. Митрополит твердит государю о том, что какие бы революционные перевороты ни происходили в Европе, католическая церковь в России может оставаться на тех же основаниях, на каких она и теперь существует, и что всегда найдется возможность устроить ее управление по примеру галликанской церкви, без всякого ущерба для основных догма-

тов католичества... Он, как мне кажется, желает сделаться каким-то папою в России; он – человек чрезвычайно честолюбивый и вдобавок корыстный в высшей степени...

– С последним вашим замечанием я не согласен, – живо перебил Литта. – Насколько я знаю его эминенцию и сколько я слышался о нем, он чужд честолюбия и корысти. Ошибка в его мнениях и в его действиях происходит разве только оттого, что он уж слишком широко понимает евангельские слова «Царство мое – не от мира сего», а потому не хочет вмешиваться во имя церкви ни в какие дела и вопросы политического свойства. Притом, как бывший военный, он ставит субординацию выше всего. Однажды в разговоре со мною он высказал неудовольствие на то, что ваш орден стремится к какой-то недозволенной самостоятельности и что он не видит никакого основания к тому, чтобы общество Иисуса не подчинялось власти местного епископа точно так же, как подчиняется ей всякий другой монашеский орден. Между тем вы, по словам его, хотите, обойдя епископов, предоставить полную власть над орденом

провинциалам и приорам непосредственно под главенством святого отца.

Иезуит молча слушал речь Литты, и в это время выдававшиеся на исхудалом его лице скулы были в нервном движении, и он по временам судорожно шевелил своими тонкими губами.

– Наш орден составляет особое братство, и мы сумеем всегда и везде быть настолько самостоятельными и независимыми, насколько нам это нужно для достижения наших великих и богоугодных целей. Мы – духовное воинство, которое непрерывно борется с врагами Христова учения. У нас до сих пор не было вооруженной силы, но, кажется, Господь в неисповедимых своих судьбах теперь посылает нам и ее. Я должен сказать вам, высокоуважаемый бальи, что многие члены вашего рыцарского ордена желают вступить в тесный союз с нашим обществом, и несомненно, что такой союз будет взаимно полезен. В непродолжительном времени приедет в Петербург с этою целью командор баварской нации Пфюрдт, и при посредничестве его дело уладится к обоюдной пользе. Вы обещались уже

действовать заодно со мною; я считаю уже вас нашим собратом и нахожу нужным пред-варить вас о приезде Пфюрдта. Разумеется, что в случае вашего несогласия все, что я го-ворил и говорю вам, останется тайной: на благородную скромность графа Литты может положиться каждый...

– Так же, как и на его прямоту, – добавил бальи, – и потому я должен с полной откро-венностью сказать вам, господин аббат, что я не согласен действовать в том направлении, в каком действует ваш орден, и что между ним и нашим орденом не может установиться предполагаемая вами связь...

– От вас зависит иметь тот или другой взгляд на действия общества Иисуса, – с рав-нодушным видом отозвался аббат. – Со своей стороны, я могу сказать, что несходство ва-ших взглядов и мыслей со мною не будет слу-жить ни малейшим препятствием к тому, чтобы устроить ваше дело так, как мы пред-положили. Безучастие ваше к судьбам не только нашего ордена, но и мальтийского ры-царства в настоящее время мне вполне по-нятно. Вы заняты не этим, да и вообще влюб-

ленные люди не могут быть бодрыми деятелями. Отложим на время начатый мною разговор в перейдем к занимающему вас лично вопросу. В последнее мое свидание с государем мне не удалось завести речь о вашем деле, но в успехе его не сомневайтесь: император позволит графине Скавронской вступить с вами в брак, а его святейшество разрешит вам жениться и остаться в ордене. Политические обстоятельства скоро переменятся, и ваши родовые командорства с их огромными доходами возвратятся опять к вам, если вы останетесь в ордене. Невозможно предполагать, чтобы торжество безбожных революционеров было продолжительно. Законная власть вскоре преодолет их, и тогда все станет по-прежнему. Стихнет гроза, и ваш благородный орден будет продолжать свое существование среди тишины и безопасности, если только члены его останутся ему верны среди тех бедствий, какие он ныне испытывает. Нужно только устранить участие митрополита и просить разрешение на брак с графинею непосредственно в Риме. Сестренцевич не благоволит к вашему ордену как к учрежде-



нию, которое примешивает церковь к делам политическим. Он постарается повредить вам и у государя, и у папы. На днях император приедет в Петербург, и я не заставлю вас долго ждать моего уведомления.

Сказав это, аббат самым дружественным образом расстался с Литтою.

## XVI

Скавронская сидела за утренним кофе, ожидая с нетерпением приезда Литты. Накануне этого дня, поздно вечером, аббат известил его о своем свидании с государем и приглашал приехать к нему пораньше утром, так как он должен был сообщить ему некоторые весьма важные, касающиеся его сведения. Молодая женщина как будто нарочно в ожидании жениха хотела казаться еще более привлекательною: она была в утреннем negligé – белом батистовом капоте, отделанном дорогими кружевами, с длинными и широкими рукавами, называвшимися на тогдашнем модном языке «triste Amadis», а ее напудренные золотисто-русые волосы, собранные назад, поддерживались голубою лентой, охватившей голову через лоб в виде повязки.

Литта, впрочем, недолго заставил себя ждать. Приехав к Скавронской, он передал ей, что аббату удалось узнать мнение государя как относительно выхода замуж графини Скавронской, так и относительно того, чтобы граф Литта и после брака с нею оставался в

Мальтийском ордене, если только удастся ему выхлопотать у папы такое разрешение. Аббат сообщил, что теперь, кажется, самая лучшая пора для того, чтобы обратиться к императору с просьбою о разрешении брака, так как государь чрезвычайно заинтересован судьбою мальтийских рыцарей и полагает, что граф Литта может оказать большое содействие к тому, чтобы устроить дела ордена согласно намерениям Павла Петровича.

Решено было воспользоваться удобною минутою. Литта тотчас же написал черновое письмо к Кутайсову, изложив в этом письме просьбу Скавронской об испрошении ей у государя особой аудиенции, а она, переписав письмо набело, приказала верховному лакею отвезти его к графу Кутайсову. Спустя несколько времени к ней приехал сам Кутайсов, желая известить ее, что его величество, согласно просьбе графини, примет ее завтра, в восемь часов утра. Назначение особой аудиенции считалось знаком милостивого расположения государя, так как удовлетворение подобной просьбы составляло исключение из общего правила. При императоре Павле лица,

не имевшие к нему постоянного доступа и желавшие просить его о чем-нибудь или объяснить с ним по какому-нибудь делу, должны были по утрам в воскресенье являться во дворец и ожидать в приемной зале, смежной с церковью, выхода оттуда государя по окончании обедни. Император, останавливаясь в приемной, одних выслушивал тут же, с другими же, приказав следовать за ним, разговаривал в одной из ближайших комнат или, смотря по важности объяснения, уводил в свой кабинет. Каждый из желавших объяснить с государем имел право являться в приемную три воскресенья сряду, но если в эти три раза государь делал вид, что он не замечает просителя или просительницы, то дальнейшее их появление в его воскресной приемной не только было бесполезно, но и могло навлечь на них негодование императора. Такой порядок принят был и в отношении лиц, не имевших к государю никаких просьб, но только обязанных или представиться ему, или благодарить его за оказанную им милость, а также и в отношении иностранных дипломатов, желавших иметь у него прощальную аудиен-

цию. Некоторые из них, побывав по воскресеньям три раза в приемной императора, не достаивались не только его слова, но даже и его взгляда и вследствие этого должны были понять, что дальнейшие их домогательства об отпускной аудиенции будут совершенно неуместны.

Немало затруднений представлял вопрос о том, в каком наряде должна была явиться Скавронская к государю, который не любил введенного при дворе так называемого русского платья – наряда, заимствованного императрицею Екатериною во время посещений ею города Калуги от тамошних богатых купчих. Вообще чрезвычайно трудно было приуровить дамский наряд к прихотливому вкусу государя: иной раз он, видя в своем дворце пышно разодетую даму, был недоволен выставкою пред ним суетной роскоши и высказывал, что ему нравится более простая и скромная одежда придворных дам, нежели пышные их наряды. В другой же раз лицо его принимало пасмурное выражение, когда он замечал, что явившаяся во дворец дама было одета довольно просто, несоответственно сво-

им средствам, и считал это неуважением, оказанным к его особе. Кутайсов хотя и был самый близкий человек к государю, но на вопрос Скавронской о том, в каком наряде она должна представиться его величеству, не мог ей дать не только положительного наставления, но даже и никакого совета. Самый цвет дамского костюма требовал часто счастливой угадки: иной день императору не нравились яркие цвета, а другой день – темные, а между тем произвести на него при первом появлении чем бы то ни было неприятное впечатление значило испытать полный неуспех в обращенной к нему просьбе.

Отправляясь во дворец, Скавронская постаралась прибрать такой наряд, чтобы он не бросался в глаза императору своею особенною пышностью, но чтобы в то же время и не обратил на себя его внимания своею излишнею простотою. Ранее обыкновенного поднялась она в этот день с постели, и еще не пробило семи часов утра, когда она, окончив уже свой туалет, не без замирания сердца сядила в карету, запряженную шестернею цугом с двумя ливрейными гайдуками на запя-

ках.

Кутайсов предупредил графиню, что император разрешил ей на этот раз приехать к главному подъезду Михайловского замка, и добавил, что он, Кутайсов, будет ожидать ее в первой зале для того, чтобы провести к государю и доложить ему о ней. Упомянутое разрешение было знаком особого внимания Павла Петровича к графине, так как правом приезжать к главному подъезду замка пользовались весьма немногие лица. Все же прочие должны были подъезжать к особой маленькой двери, подниматься и спускаться несколько раз по темноватым лестницам и приходить на половину государя по мрачным коридорам, освещенным фонарями даже и в дневное время.

Дом Скавронской находился на углу Большой Миллионной, по соседству с Мраморным дворцом, и она издали же увидела из кареты блиставшую на утреннем солнце вызолоченную башенку над куполом дворцовой церкви и развевавшийся на другой башенке замка императорский флаг, обозначавший, что государь был дома, ибо при выезде его из замка,

хотя бы на самое короткое время, флаг каждый раз бывал спускаем до его возвращения домой.

Сурово и неприветливо смотрело новое царское жилище, об основании которого ходила в народной молве странная легенда. На месте построенного Павлом Петровичем огромного замка стоял прежде деревянный так называвшийся «летний» дворец, начатый постройкою при правительнице Анне Леопольдовне и оконченный при Елизавете Петровне. Дворец этот, оставаясь без поправок, приходил постоянно в ветхость и стал грозить совершенным разрушением. Однажды при паролле, отданном на разводе, происшедшем 20 ноября 1796 года, император приказал «бывший летний дворец называть Михайловским». Вслед за тем он повелел сломать этот дворец, и 26 февраля 1797 года на месте прежнего дворца происходила торжественная закладка Михайловского замка. Для основы нового здания был заготовлен большой кусок мрамора в виде высокой плиты с высеченною на нем надписью о времени закладки. Около этого камня по обеим сторо-



нам были поставлены покрытые пунцовым бархатом столы с вызолоченными на них серебряными блюдами, на которых лежали такие же лопатки, известь и яшмовые камни, обделанные наподобие кирпичей, с золотыми на них вензелями императора и его супруги, серебряный молоток, а также золотые и серебряные монеты нового чекана. На одном столе принадлежности эти были заготовлены для императора и императрицы, а на другом – для великих князей и великих княжон. По отслужении архиепископом Иннокентием молебна, в присутствии двора, при пушечной пальбе с Петропавловской крепости и из орудий, поставленных на Царицыном лугу, была произведена закладка замка. Постройка его была поручена архитектору итальянцу Бренне, и работа закипела с изумительною быстротою: 6000 рабочих ежедневно были заняты при этой постройке. Так как мрамора наготове не было, то его взяли от строившегося в ту пору Исаакиевского собора, который и стали достраивать из кирпича. Причину же постройки нового дворца объяснили следующим загадочным случаем.

Однажды часовому, стоявшему в карауле при летнем дворце, явился какой-то блистающий сиянием юноша и заявил оторопевшему служивому, что он, юноша – архангел Михаил, приказывает ему идти к императору и сказать, что он, архангел, желает, чтобы на месте старого летнего дворца был построен храм во имя архистратига Михаила. Часовой донес о бывшем вядении по начальству, и когда об этом доложили императору, то он сказал: «Мне уже известно это желание архангела Михаила; воля архистратига небесных сил будет исполнена». Вслед за тем он распорядился о постройке нового дворца, при котором должна была быть построена и церковь во имя архангела Михаила, а самый дворец приказал называть Михайловским замком.

При императоре Павле замок этот имел вид средневековой твердыни: его окружали со всех сторон канавы, обложенные камнем, с пятью подъемными на них мостами. Кроме того, замок был обведен со всех сторон земляным валом, на котором было расставлено двадцать бронзовых пушек двенадцатифунтового калибра. Замок окружал обнесенный

каменной вышиною в сажень стеною сад, в котором были цветники, оранжереи и теплицы. К замку от Большой Садовой улицы вели три липовые и березовые аллеи, посаженные еще при императрице Анне, каждая из них упиралась в железные ворота, отделенные от решетки с гранитными столбами. Решетка эта была поставлена против главного фасада замка. Главные ворота, украшенные вензелями государя под императорскою короною, открывались только для членов императорской фамилии. Боковые же ворота, из которых одни назывались Воскресенскими, а другие Рождественскими, были назначены для въезда и выезда экипажей. Проехав аллеи и ворота, карета Скавронской через подъемный мост въехала на так называемый «коннетабль» – обширную расстилавшуюся перед дворцом площадь, на которой была поставлена конная статуя Петра Великого.

Подъезжая к замку и смотря на красноватый цвет его стен, Скавронская ободряла себя мыслию о рыцарской любезности государя к женщинам. Рассказывали, что на одном из придворных собраний Павел Петрович, увле-

ченный беседою с какою-то молоденькою дамою, просил у нее на память бывшие у нее на руке перчатки. Разумеется, что желание императора было исполнено немедленно, и он одну из перчаток послал строителю замка на образчик той краски, в какую должны были быть окрашены те части наружных стен, которые не будут отделаны мрамором или гранитом. Несмотря на яркий цвет своих стен, замок все-таки смотрел невесело, и угрюмости его стиля не ослабляли бывшие на нем украшения, состоявшие из вензелей в мальтийском кресте, гирлянд из вызолоченной бронзы, фронтона, высеченного из каррарского мрамора, и гербов областей, входивших в состав русской империи. Крыша на замке была медная с мраморною вокруг нее балюстрадою и статуями, снятыми с Зимнего дворца.

Выйдя из кареты и поднявшись по широкой гранитной лестнице, Скавронская вошла в обширные сени, украшенные колоннами из красного мрамора. Пол в сенях был из белого мрамора, а в нишах находились египетские истуканы; посреди же сеней стояли на мраморных пьедесталах бронзовые статуи Герку-

леса и Флоры. В соседней с сенями зале находился главный дворцовый караул, состоявший постоянно из одного офицера и тридцати рядовых. Караул этот был расположен так, что никто не мог дойти до императора, минуя эту стражу. В этой комнате встретил Скавронскую ожидавший ее приезда Кутайсов и, ободряя ее, повел молодую вдовушку наверх в покои государя.

Лестница, по которой они поднимались, представляла образец роскошной отделки. Стены ее были выложены мрамором различных цветов, а места, оставшиеся пока белыми, предполагалось расписать фресками. Наверху лестницы, у входа в апартаменты, стояли на часах два гренадера. С площадки лестницы Кутайсов и его спутница вошли в большую овальную прихожую, посреди которой был поставлен бюст короля шведского Густава Адольфа. Двери из прихожей вели в обширную залу, отделанную под желтый мрамор с темными разводами; зала эта была украшена картинами, изображавшими некоторые важнейшие события из русской истории. Затем Скавронская прошла через вели-

колепно убранную тронную залу. Стены этой залы были обиты пунцовым бархатом, затканым золотом, а огромная печь была обложена бронзой. Насупротив трона, в нишах около дверей, стояли античные статуи Цезаря и императора Антонина, а по стенам были развешаны гербы семидесяти шести тогдашних русских провинций. Огромное зеркало, великолепная люстра и три стола – один из verde antico, а другие два из зеленого восточного порфира

– дополняли убранство тронной залы. На плафоне ее были нарисованы две аллегорические картины, и в каждой из них виднелось между прочим знамя Мальтийского ордена. Отсюда до комнат императора было уже недалеко: оставалось только пройти галерею «арабесок» с мраморными колоннами, привезенными из Рима. Галерея эта была устроена в подражание «лоджиям» Рафаэля, находящимся в Ватиканском дворце. Кутайсов попросил Скавронскую остановиться в этой галерее, а сам, осторожно приотворив дверь, заглянул в следующую комнату и на цыпочках стал пробираться далее. Спустя несколько минут за-

творенная Кутайсовым дверь отворилась.

— Его величество приглашает вас войти, — сказал он графине и, пропустив Скавронскую вперед, вышел в галерею и там сел на диван в ожидании возвращения своей клиентки.

Император только что вернулся с развода и, как было заметно, находился в хорошем расположении духа. Скавронская прошла через прихожую, в которой стоял караул от лейб-гвардии гусарского полка, и вошла в большую белую залу, по стенам которой висели прекрасные ландшафты и виды Михайловского замка и стояло шесть изящных красного дерева шкапов, наполненных книгами, составлявшими частную библиотеку императора. Скавронская остановилась в этой комнате, не зная, идти ли ей далее, как вдруг в дверях против нее показался император...

Число парадных комнат в Михайловском замке не ограничивалось теми, которые проходила Скавронская; посетитель замка мог бы насмотреться еще более на роскошь новых царских чертогов. Двери из галереи Рафаэля вели не только в покои государя, но и в галерею Лаокоона, названную так по превосход-

ной древней статуе, стоявшей среди этой галереи, стены которой были увешаны гобеленами, изображавшими события из священной истории; но картины эти как-то не гармонировали с придвинутыми к ним статуями Дианы и Эндимиона, Психеи и Амура. В конце этой галереи стояли на часах два гвардейских унтер-офицера с эспантонами в руках. Они охраняли вход в овальную гостиную с кариатидами по стенам. Комната эта поражала своим убранством: в ней была мебель, обитая бархатом огненного цвета и отделанная серебряными шнурами и кистями. Гостиная эта была смежна с громадною бальною залою, обложенною белым мрамором, из нее был вход в круглую тронную залу, громадный купол которой поддерживали шесть колоссальных статуй, а стены ее были обтянуты красным бархатом, затканым золотом и покрытым золотою резьбою. Все окна в этой зале, кроме одного, из огромного цельного зеркального стекла, вставленного в раму из массивного серебра, были завешаны красною шелковою тканью. В этой тронной зале спускалась с потолка замечательной работы огромная люст-



ра из чистого серебра. Впрочем, так как императору не стала вдруг нравиться красная отделка комнаты, то он захотел отделать ее желтым бархатом с великолепным серебряным шитьем и серебряными массивными украшениями по стенам. Столы, подзеркальники и вся мебель в этой комнате должны были быть сделаны из чистого серебра. К такой отделке уже и приступили, и на первый раз было отпущено с монетного двора на заготовку нужных вещей сорок пудов серебра; но вскоре кончина государя не только прекратила эти работы, но и оставила Михайловский замок необитаемым в течение нескольких годов. Не были также окончены заказанные собственно для нового дворца и великолепные столовые сервизы: один из чистого серебра, а другой – фарфоровый с изящно рисованными видами Михайловского замка.

Половина императрицы отличалась роскошной обстановкой и изяществом. Там также были столы из брекчии и восточного алебастра и из ляпис-лазури; обитая бархатом и шелком мебель, изящная бронза парижского изделия; двери из красного, розового и кедр-

рового дерева, великолепные фарфоры, статуи, картины, гобелены, занавеси из парчи, камин из каррарского мрамора и плафоны, расписанные фресками и гуашью. На половине государыни богатством убранства отличалась в особенности парадная опочивальня. В этой комнате место для постели было отделено массивною серебряною балюстрадой, весившею четырнадцать пудов, а вызолоченная кровать стояла под светло-голубым бархатным балдахином, подхваченным серебряными шнурами с такими же кистями.

Несмотря на затрату громадных капиталов и на участие в постройке Михайловского замка лучших художников того времени, как русских, так и иностранных, здание это было совершенно неудобно для житья. Страшная, разрушительная сырость еще до переезда в замок императора перепортила и отделку комнат, и мебель, и картины. В покоях государя стены были обиты деревом, и это удерживало несколько сырость, отдававшуюся от стен, но в других помещениях замка не было никакой возможности жить. До какой степени доходила сырость в этом новоустроенном

дворце, можно заключить из того, что когда в нем был дан в первый раз императором Павлом бал, то хотя в залах зажжено было множество свечей, но в них стояла густая мгла. В дворцовых залах, подобно тому, как на улицах в туманную осеннюю ночь едва мерцают тусклые фонари, уныло мерцали огоньки восковых свечей. Только с большим трудом можно было различить кого-нибудь с одного конца залы на другом. Дамские наряды отсырели и при слабом свете утратили свою яркость, гости, как тени, двигались в полупотемках. Между тем Павел Петрович восхищался постройкой нового дворца, и ничем легче нельзя было снискать его благосклонность, как похвалою, сделанною Михайловскому замку. Немало ловких людей воспользовались этой слабостью государя, а один из них, директор заемного банка Данилевский, отец будущего нашего военного историка, даже испросил у императора как особой милости дозволение прибавить к своей фамилии в память о постройке нового дворца прозвание – «Михайловский».

## XVII

При появлении государя Скавронская сделала ему низкий реверанс по всем строгим правилам тогдашнего придворного этикета, отбив взад правою ножкою длинный шлейф своего платья; а он встретил ее с тою утонченною вежливостию, какою обыкновенно отличался в обращении своем с дамами. Император пододвинул ей кресло и, пригласив ее садиться, сам сел около нее.

– Я уже знаю цель вашего посещения, – начал император по-французски,

– вы приехали просить меня, чтобы я разрешил вам вступить в брак с графом Литтою.

– Так точно, ваше величество, – проговорила Скавронская.

– Противиться вторичному вашему браку я имел прежде достаточное основание. Это был с моей стороны не пустой каприз, которым обыкновенно любят объяснять мои распоряжения, хотя для них и имеются у меня вполне уважительные причины. Вы – молодая и слишком богатая вдова; у вас от первого мужа остались две маленькие дочери, и я не желал,

чтобы эти сиротки попали на попечение вотчина, который мог бы не только не заботиться о них, но даже и расстроить их состояние. Я действовал в этом случае в качестве негласного над ними опекуна; я, как государь, считаю святым для себя долгом заботиться об участи каждого из моих подданных, если мне лично известно его положение и если я могу своею властью сделать что-нибудь в его пользу. Говоря это, я, конечно, не позволю себе предполагать, чтобы ваш выбор мог пасть на недостойного человека, но я вообще слишком недоверчив, а ваша молодость, неопытность и мягкость вашего характера побуждали меня заботиться не только о судьбе ваших малюток, но отчасти и о вашей собственной... Я знаю, вы были несчастливы в первом замужестве, – с участием добавил император.

– Благодарю вас, государь, за ваше милое внимание, – тихо отозвалась взволнованная Скавронская.

– Вскоре по приезде графа Литты в Петербург, – начал государь, – до меня дошли слухи о предполагаемом с ним вашем браке, и я тогда же поручил Ивану Павловичу узнать об-

стоятельства об этом, прибавив, что я не изъявлю согласия на ваш брак. Кутайсов вам ничего не говорил об этом?..

– Ни полслова, ваше величество!

– И прекрасно сделал: значит, умеет ценить оказываемое ему мною доверие. Я тогда еще не знал графа Литты, но впоследствии, познакомившись с ним близко, убедился, что он – рыцарь в полном значении этого слова. Я, со своей стороны, не противлюсь теперь вашему с ним браку. Поздравляю вас, вы сделали вполне удачный выбор, а такой выбор составляет обыкновенно лучший залог супружеского счастья. К сожалению, брак ваш невозможен по другим, не зависящим вовсе от меня причинам: как рыцарь Мальтийского ордена, граф Литта дал обет безбрачия, и ему не остается ничего более, если он намерен быть вашим супругом, как только выйти из ордена, а между тем как тяжело будет для него это; да и кроме того, такой с его стороны поступок совершенно противоречил бы тем планам, которые я составил относительно этого славного и древнего учреждения. Мне необходимо, чтобы граф Литта оставался на

том месте, которое он занимает с такою честью, то есть чтобы он был представителем Мальтийского ордена при моем дворе.

Император нахмурился и начал качать головою, что служило у него выражением озабоченности.

– Но, ваше величество, препятствие, о котором вы изволили упомянуть, может быть устранено, – робко проговорила Скавронская.

– Устранено?.. Это каким способом?.. – не без удивления спросил он, пристально смотря на свою собеседницу. – Как, однако, находчивы влюбленные женщины!.. Какой же способ придумали вы?.. – засмеявшись, добавил он.

– Я слышала, государь, что папа своею властью может отменять в виде особых исключений правила, находящиеся в статуте Мальтийского ордена, и, следовательно, он может разрешить графу Литте вступить в брак со мною и оставаться по-прежнему в ордене...

– Вот как! – с веселым видом воскликнул император, – мы уже и святейшего отца начинаем примешивать к нашим сердечным делам!.. Я уверен, впрочем, что если подобное отступление возможно, то Пий VI, этот по-

чтенный старец, не откажет для меня в подобном снисхождении, а для графа Литты устроить дело таким образом было бы очень хорошо. Он сохранил бы свои наследственные командорства, доставляющие ему такой огромный доход; впрочем, он, без всякого сомнения, готов отказаться не только от них, но и от всего, чтобы иметь такую прелестную супругу, как вы, графиня.

– Позволю себе заметить, ваше величество, – заговорила Скавронская прерывающимся от волнения голосом, – что ни с моей стороны, ни со стороны графа Литты нет в настоящем случае никакого расчета на богатства: мы чувствуем, что мы были бы вполне счастливы друг с другом и без всякого состояния; я, государь, испытала уже однажды в жизни, что богатство не дает счастья.

– А я, с моей стороны, был бы очень рад, если бы предположение ваше осуществилось. Подобная уступка папы немало бы поспособствовала распространению ордена, а я имею на него большие виды, – протяжно и несколько призадумавшись проговорил император. – А вы знаете ли, графиня,



– живо спросил он, – что и дамы могут быть членами этого знаменитого ордена, и если бы я имел право распоряжаться в ордене, то вы были бы в числе первых дам, которых я украсил бы его знаком.

– Не нахожу слов, как благодарить ваше величество за ваше милостивое расположение и за данное мне позволение, которое, я надеюсь, принесет мне новое счастье в моей теперешней одинокой жизни, – с чувством, поднимаясь с кресла, сказала Скавронская. Павел Петрович встал тоже и, подойдя к письменному столу, взял листок бумаги и стал что-то записывать на нем.

– Что касается папского разрешения, то я насчет этого поговорю с митрополитом Сестренцевичем. Впрочем, я потолкую об этом с аббатом Грубером: он хорошо знает все тонкости ватиканского двора и умеет превосходно обделать там каждое дело. Пусть и граф Литта, с своей стороны, попросит его об этом, да и вы, графиня, скажите ему несколько любезных слов, ведь этот старик, несмотря на видимую холодность, вероятно, поклонник молодых и хорошеньких женщин. Вы знаете

аббата?..

– Кто же не знает его в Петербурге, ваше величество? С ним приходится постоянно встречаться в обществе.

– А у вас в доме бывает он?..

– Бывает...

– Гм, – проговорил император. – Я надеюсь, что вы позволите мне быть на вашей свадьбе в числе гостей? – сказал Павел Петрович.

– Вы осчастливите меня этим, ваше величество, – проговорила почтительно графиня, делая прощальный реверанс императору, который, вежливо поклонившись ей, проводил ее молча до дверей своего кабинета.

В галерее Рафаэля Скавронская нашла ожидавшего ее Кутайсова.

– Благополучно кончилось?.. – спросил он ее чуть слышным голосом.

– Как нельзя лучше... государь был чрезвычайно милостив, – радостно проговорила Скавронская.

– Только поторопитесь кончить дело как можно скорее, а то все может вдруг перемениться. Чуть потянет ветер с севера, и государь будет уже не тот. Удивительным обра-

зом действует на него северный ветер, когда он дует. Павел Петрович делается угрюм и суров, – прошептал Кутайсов, идя рядом с графиней.

Они не успели еще выйти из галереи, как позади их раздался громкий, но несколько сипловатый голос:

– Иван Павлыч, поди-ка сюда!..

Они обернулись и увидели в конце галереи выходящего из своих покоев государя. Кутайсов быстро сделал знак глазами своей спутнице, чтобы она не останавливалась, а уходила поскорее, а сам опрометью кинулся к императору.

Скавронская подходила уже к выходу из царских апартаментов, когда ее нагнал Кутайсов. Он был чрезвычайно взволнован, а его замечательно красивое лицо выражало признаки сильного беспокойства.

– Что с вами, граф?.. – спросила она испуганным голосом.

– Вы не тревожьтесь, дело, по которому потребовал меня к себе государь, касается лично меня, и я поставлен в крайне неприятное положение.

– Не через меня ли?.. – заботливо спросила Скавронская.

– Отчасти через вас, Екатерина Васильевна; но вы тут ровно ни при чем, – принужденно улыбаясь, отвечал Кутайсов.

Оглядываясь боязливо по сторонам и ускоряя все более и более шаги, как будто сзади его преследовал кто-нибудь, выводил Кутайсов из дворца свою встревоженную спутницу, и, прощаясь с нею в последней зале, он сказал, что сегодня же побывает у нее, чтобы подробнее узнать об ее беседе с государем. Скавронская от души поблагодарила Кутайсова, который, как чрезвычайно добрый человек, всегда был готов каждому оказать услугу или своею просьбою у государя, или предупреждением об угрожавшей со стороны Павла Петровича кому-нибудь неожиданной напасти.

Вскоре Кутайсов, отпущенный из дворца государем, возвратился к себе домой и с лихорадочным беспокойством принялся рыться в своих бумагах и во всех ящиках своего письменного стола.

– Не понимаю, решительно не понимаю, куда она могла деться, – бормотал он. – Кажет-

ся, я уже все перешарил, а ее нигде нет...

Чрезвычайно расстроенный, он пошел в свой гардеробный шкаф и стал не только пересматривать, но и выворачивать все карманы своих кафтанов и камзолов, и чем меньше оставалось надежды на успешность поисков, тем больше возрастало его беспокойство. Наконец он убедился в бесполезности дальнейших исканий потерянного.

«Плохо же мне будет!.. Он этого терпеть не может», – думал Кутайсов и с лихорадочным страхом вспомнил о сплетенной из воловьих жил и стоявшей в углу кабинета Павла Петровича палке, которой государь расправлялся с Кутайсовым в минуты своего гнева, переходившего часто в исступление из-за какой-нибудь рассердившей его безделицы.

В дурном расположении духа приехал Кутайсов к Скавронской; он застал у нее Литту, и она передала ему в подробности разговор, бывший у нее с императором.

– Почему, граф, вы были так взволнованы, когда вышли от государя? – с участием спросила Скавронская Кутайсова.

– Теперь я могу сказать вам о причине мое-

го волнения. Вы, может, не знаете, что государь имеет привычку после молитвы сидеть несколько времени в своем кабинете, не допуская туда никого. В это время он думает о тех делах, которые его занимают, и свои по ним распоряжения записывает на особо приготовленных листах и затем передает эти листки тем, кому они предназначаются. Государь требует, чтобы листки эти сохранялись в целости, и они очень часто служат средством для оправдания себя перед ним тем, кому он дает поручения. В числе таких листков, переданных мне, был тот, о котором упомянул в разговоре с вами его величество, а именно — в котором он выразил свое согласие на ваш брак с графом Литтою. Разговорившись с вами, государь вспомнил об этом листке и, позвав меня к себе, приказал, чтобы я этот листок сегодня же вечером возвратил ему, а между тем я нигде решительно не могу его найти. Я предчувствую страшные неприятности: как государь бывает обворожителен в минуты доброго расположения, так бывает он ужасен и грозен в порывах гнева. Моя небрежность сильно взволнует его, даром

мне это не пройдет... Я, конечно, не смею роптать на него: я рос и учился с ним вместе, и он слишком много меня облагодетельствовал. Я, помимо опасения его гнева, сильно досажую на себя, что подал ему повод к неудовольствию, которое чрезвычайно вредно действует на его раздражительную натуру...

В то время, когда Кутайсов с таким волнением говорил о потерянной им записочке государя, Скавронская и Литта мельком переглянулись друг с другом: они догадывались, что это была та самая записочка, которую аббат показал графу; но им казалось неуместным высказать Кутайсову свою догадку, тем более что теперь это было бы совершенно бесполезно, так как записка была в руках Грубера.

Мысль о роковой записочке не выходила из головы Кутайсова, и он утешал себя только тем, что государь, быть может, не вспомнит о ней сегодня вечером, а потом и совсем забудет о ней. Возвращаясь от Скавронской, он припоминал все малейшие обстоятельства, сопровождавшие получение этой записочки. Он вспомнил, что прямо из дворца приехал с

нею к своей возлюбленной мадам Шевалье, и, желая занять милую хозяйку рассказами о городских новостях, заболтался с нею против обыкновения до излишней откровенности и, между прочим, показывал ей эту записочку. Припомнив все обстоятельства до малейших подробностей, Кутайсов окончательно убедился, что он отыскиваемую им теперь записочку не мог оставить нигде, как только в уборной посещаемой им красотки, и решился отправиться к ней для новых поисков, никак не воображая, что оставленная у актрисы записочка могла очутиться в письменном столе аббата Грубера.

– Когда я был у тебя в последний раз, милая Генриетта, – запинаясь, сказал приехавший к мадам Шевалье Кутайсов, – я, кажется, показывал тебе записку государя... Не оставил ли я ее у тебя?.. Где она?..

– Как ты бываешь забавен, Жан! – засмеялась Генриетта. – Стану я беречь клочок бумаги. Ты знаешь, что я рву все письма и записки и даже любовные послания, которые я получаю. Я делаю это для того, чтобы успокоить тебя, моего ревнивца. Впрочем, поищи сам, –



равнодушно добавила она.

Кутайсов произвел в квартире Генриетты самый тщательный обыск. Он рылся и шарил всюду, где только, как он мог предполагать, найдется потерянная им записочка, но разумеется, что все его поиски были безуспешны.

С замирающим от страха сердцем и с сильным дрожанием в коленях явился в этот вечер Кутайсов к государю.

– Ведь сказано было тебе, – сказал Павел Петрович, – чтоб ты приехал сегодня, но лишь пораньше, а ты, братец, запоздал, – внушительно заметил государь.

У Кутайсова отлегло от сердца.

– А ту записку, которую я послал вчера вечером через тебя Ростопчину, он мне еще не возвратил... Поторопи его. Не люблю я проволочек, – с досадою проговорил император.

На этот раз испуг Кутайсова был еще сильнее прежнего. Теперь слышалось не только роковое для него слово «записка», но и шла речь о таких обстоятельствах, которые очень легко могли напомнить государю о данном им Кутайсову приказании – возвратить записку касательно брака Скавронской с гра-

фом Литтою.

Не только в этот вечер, но и во все следовавшие за тем дни Кутайсов был в страшном беспокойстве при свиданиях с государем. Какое-нибудь отдельное слово или малейший намек, как казалось Кутайсову, могли напомнить Павлу Петровичу о не полученной им обратно записке, бросали Ивана Павловича то в жар, то в холод.

Однако, на счастье Кутайсова, дело обошлось благополучно. У государя вышло из памяти отданное им приказание, но немало под влиянием беспрестанных опасений выстрадал в это время его любимец по милости очаровательной Генриетты.

## XVIII

В начале лета 1798 года во Франции, в тулонском военном порту, шли самые деятельные приготовления к морской экспедиции, назначение которой оставалось для всех непроницаемой тайной. Известно было только, что главное начальство над этою загадочною экспедициею примет генерал Наполеон Бонапарт. В первых числах июля французский флот, состоящий из пятнадцати линейных кораблей и десяти фрегатов и из десанта в тридцать тысяч человек, вышел из Тулона. О военно-морских приготовлениях Франции было известно в Англии, которая хотела воспрепятствовать этому предприятию французского флота, а потому генерал Нельсон, находившийся в Средиземном море, узнав о скором выходе флота из Тулона и, не имея сведения о том, куда он направится, намеревался или блокировать Тулон, или, встретив неприятеля в море по выходе из порта, дать ему решительное сражение. Под начальством английского адмирала состояло четырнадцать линейных кораблей, восемь фрегатов, четыре

куттера и две бригантины. Нельсону не удалось, однако, ни блокировать французский флот в Тулоне, ни встретиться с ним на своем пути к этому порту. Английская эскадра подошла к Тулону уже на третий день после ухода оттуда французского флота; Нельсон погнался за французами, но погоня была безуспешна. Между тем 12 июля Бонапарт явился перед Мальтой, которая, несмотря на ее грозные укрепления, сдалась французам после самого непродолжительного боя, завязанного, как оказалось, только для вида. Завоевание Мальты стоило французам трех убитых и шести раненых; урон же мальтийцев был несколько более. Предлогом завоевания Мальты послужили какие-то неопределенные несогласия, бывшие между великим магистром Мальтийского ордена, бароном Гомпешем, и директориею Французской республики. При взятии Мальты французы овладели одним фрегатом, четырьмя галерами, тысяча двумястами пушками и большим количеством разных военных снарядов. На Мальте французы нашли до 500 турецких невольников, которым тотчас же дана была полная

свобода. Великий магистр ордена барон Гомпеш, бывший до своего избрания в это звание послом римско-немецкого императора на Мальте, с шестью рыцарями отправился в Триест под прикрытием французского флота. Громко заговорили в Европе об измене Гомпеша, на которую он будто бы решился по предварительному уговору с директориею. Но в то же время стал ходить слух, что без ведома его шесть мальтийских кавалеров вероломно сдали Мальту французам за значительное денежное вознаграждение. Французский гарнизон занял Ла-Валлетту, резиденцию великих магистров, а запоздавший на выручку Мальты Нельсон, оставив для блокады острова несколько кораблей, погнался опять за французами. Когда же он услышал, что французы, засевшие в Ла-Валлетте, готовы будто бы сдаться на капитуляцию англичанам, то послал на Мальту подкрепления, предписав командиру стоявшей перед островом эскадры условия будущей капитуляции. Но надежды адмирала не сбылись: французы не думали вовсе уступить Мальту англичанам, которым поэтому приходилось овладеть островом во-

оруженною силою.

Когда пришло в Петербург известие о взятии Мальты французами, гневу императора Павла Петровича не было пределов. Завоевание острова он считал нанесенным ему лично оскорблением, так как Мальта принадлежала рыцарскому ордену, покровителем которого он объявил себя перед всею Европою. Его еще и прежде сильно раздражали завоевательные успехи Французской республики, хотя при этом нисколько не затрагивалось его самолюбие как русского императора. Теперь же он находил, что французы дерзнули прямо оказать неуважение ему как протектору Мальтийского ордена, в судьбах которого он принимал такое живое участие. В это время русская эскадра под начальством адмирала Ушакова крейсировала в Средиземном море, а турки старались отнять захваченные у них французами Ионические острова. В припадке сильного раздражения император немедленно послал Ушакову рескрипт, в котором писал: «Действуйте вместе с турками и англичанами против французов, яко буйного народа, истребляющего в пределах своих веру

и Богом установленные законы».

Теперь была самая благоприятная пора для того, чтобы склонить государя к деятельному заступничеству за разгромленный французами Мальтийский орден, которому после взятия Мальты грозило окончательное падение. Несколько времени тому назад положение Литты было тяжело. Но, надеясь устроиться в Петербурге, он писал на Мальту великому магистру, «частные обстоятельства, среди которых я нахожусь, и потеря большей части моего состояния со времен вторжения французов в Италию лишают меня средств и не оставляют мне более ничего, как придумать и приискывать тихое убежище». Теперь же Литта, руководимый аббатом Грубером, с жаром принялся хлопотать за орден, имея в виду и самому устроиться в России. От папы дано было ему разрешение вступить в брак с Скавронской, оставаясь по-прежнему в звании бальи. Император, который оказывал Литте особенное расположение и вследствие занятий с ним по делам ордена сближался с ним все более и более, в самых милостивых выражениях подтвердил Скавронской данное

им согласие на вступление ее в брак с Литтою, и 18 октября 1798 года свадьба их была отпразднована с большою пышностью в присутствии государя и всей императорской фамилии.

Державин вдохновился этим событием и написал на брак Скавронской оду, которая начиналась следующей строфою:

*Диана с голубого трона  
В полукрасе своих лучей,  
В объятиях Эндимиона  
Как сходит скромною стезей...*

Так, по словам поэта, сошла в объятия Литты красавица Скавронская.

Сравнение Литты с Эндимионом вышло, впрочем, не слишком удачным, так как Эндимион был красавец пастушок, взятый Юпитером на небо и потом прогнанный им оттуда за неумеренное волокитство, потому что зазнавшийся пастушок вздумал было приударить ни более ни менее как за самую Юноною, супругою Юпитера. Диана же, влюбившись в этого небесного изгнанника-волокиту, перенесла его во время сна на гору Патмос и там проводила с ним время, наслаждаясь лю-



бовью.

Не довольствуясь этим сравнением, заимствованным из греческой мифологии, Державин образно сравнил молодую вдовушку «с младою виноградной ветвью, когда она, лишенная опоры, обовьется вокруг нового стебля, зацветет опять и, обогретая солнцем, привлечет взоры всех своим румянцем». Сделав это сравнение, Державин продолжал:

*Так ты в женах, о милый ангел!  
Магнит очей, заря без туч.*

Как брак твой вновь дозволил Павел И кинул на тебя свой луч – Подобно розе развернувшись, Любви душою расцвела, Ты красота, что, улыбнувшись, Свой пояс Марсу отдала!..

Стихи певца «Бога» и «Фелицы» хотя и выходили не совсем складны, но зато в них было все, что требовалось духом и вкусом того времени: и сравнение Павла Петровича с солнцем, а Скавронской – и с луною, и с виноградною ветвью, и с зарею, и с розою, и уподобление Литты, мальтийского рыцаря, богу войны Марсу, и указание на печальное, беспомощное одиночество молоденькой вдовуш-

ки, лишённой супружеской опоры, и, наконец, намек на препятствие, какое прежде встречал брак Скавронской со стороны государя. Проживавший в ту пору в Петербурге французский пиит Блэн де Сен-Мор скропал также стихи в честь брака Скавронской, но, по отзыву аббата Жоржеля, стихи эти были смешны и пошлы и вдобавок отличались отсутствием грамматики и синтаксиса.

Счастливо и весело зажили молодые супруги, и едва прошел медовый для Литты месяц, как усердие его на пользу Мальтийского ордена ознаменовалось новым отрадным для него событием. Он успел устроить дело так, что император стал во главе Мальтийского ордена как верховный защитник его прав, готовый употребить для обороны ордена те могучие силы, которые были в руках его как русского самодержца...

Император продолжал по-прежнему оказывать свое особенное благоволение Мальтийскому ордену, желая сохранить его в пределах Российской империи, «яко учреждение полезное и к утверждению добрых правил служащее», и в знак этого пожаловал велико-

му русскому приорству принадлежавший некогда канцлеру графу Воронцову дом, называвшийся тогда поэтому «канцелярским домом», в котором ныне помещается Пажеский корпус. Здание это, построенное знаменитым архитектором графом Растрелли, повелено было называть «замком мальтийских рыцарей». Несмотря на весь простор и на все величие этого помещения, оно было не совсем удобно для жительства в нем целомудренных и смиренных рыцарей, так как plafоны его искусные художники расписали по заказу прежнего владельца самыми соблазнительными картинами, заимствовав содержание их, согласно вкусу времени, из греческой мифологии, и потому рыцари ради соблюдения приличия проходили по обширным залам своего замка с опущенными долу взглядами. Других неудобств для них не было, и пожалованный им замок представлял для ордена хорошее приобретение.

Спустя немного времени по получении в Петербурге известия о взятии французами Мальты в одной из зал «замка» 26 августа 1798 года происходило собрание мальтийских

кавалеров великого приорства российского. На этом собрании граф Литта объявил, что сдача Мальты без боя составляет позор в истории державного ордена св. Иоанна Иерусалимского; что великий магистр барон Гомпеш, как изменник, недостойн носить представленного ему высокого звания и должен считаться низложенным. Затем, обращаясь к вопросу, кого избрать на его место, Литта полагал, что верховное предводительство над орденом лучше всего предоставить русскому императору, который уже выразил, со своей стороны, такое горячее сочувствие к судьбам ордена, и что поэтому следует просить его величество о возложении на себя звания великого магистра, если только государю угодно будет выразить на это свое согласие. К этому Литта добавил, что такое желание выражено ему со стороны некоторых заграничных великих приорств и что регалии великого магистра будут привезены с Мальты в Петербург. Собравшиеся рыцари, подписав протест против Гомпеша и его неудачных соратников, единогласно и с восторгом приняли предложение Литты и постановили считать барона

Гомпеша лишенным сана великого магистра и предложить этот сан его величеству императору всероссийскому.

С известием о таком постановлении отправился к Павлу Петровичу в Гатчину граф Литта, и там был подписан акт о поступлении острова Мальты под защиту России, причем Павел Петрович повелел президенту Академии наук, барону Николаи, в издаваемом от Академии наук календаре означить остров Мальту «Губерниєю Российской Империи». Вместе с тем император выразил свое согласие на принятие им сана великого магистра и чрез бывшего в Риме русского посла Лизаркевича вошел об этом в переговоры с папою Пием VI, который благодаря тайным проискам иезуитов, был уже подготовлен к этому вопросу и не замедлил дать императору ответ, исполненный чувств признательности и преданности. Папа называл Павла другом человечества, заступником угнетенных и приказывал молиться за него.

29 ноября того года, утром, расставлены были шпалерою в два ряда гвардейские полки, на протяжении от «замка мальтийских

рыцарей» до Зимнего дворца, и около одиннадцати часов из ворот замка выехал торжественный поезд, состоявший из множества парадных придворных карет, эскортируемых взводом кавалергардов. Поезд медленно направился к Зимнему дворцу, куда уже съехались по повесткам все придворные, а также все высшие военные и гражданские чины. Мальтийские кавалеры, в черных мантиях и шляпах с страусовыми перьями, были введены в большую тронную залу. Здесь император и императрица сидели рядом на троне, а на ступенях трона стояли члены Синода и Сената. Императорская корона, держава и скипетр лежали на столе, поставленном близ трона. Литта шел впереди рыцарей; за ним один из них нес на пурпуровой бархатной подушке золотую корону, а другой на такой же подушке нес с золотую рукояткою меч; по бокам каждого из этих рыцарей шли по два ассистента. После того как Литта и рыцари отдали глубокий, почтительный поклон императору и его супруге, Литта произнес на французском языке речь. В ней изложил он бедственное положение Мальтийского ордена,

который был лишен своих «наследственных» владений, и рыцари должны были разойтись во все стороны света. В заключение Литта от имени мальтийского рыцарства просил государя принять на себя звание великого магистра. Канцлер князь Безбородко, отвечая на эту просьбу, заявил, что его величество согласен исполнить желание мальтийского рыцарства. После этого князь Куракин и граф Кутайсов накинули на плечи императора черную бархатную подбитую горностаем мантию, а Литта, преклонив колено, поднес ему корону великого магистра, которую император надел на голову, а потом Литта же подал ему меч, или «кинжал веры».

Принимая регалии новой власти, император был сильно взволнован, и присутствующие заметили, что слезы удовольствия выступили на его глазах. Обнажив меч великого магистра, он осенил им себя крестообразно, давая этим знаком присягу в соблюдении орденских уставов. В то же мгновение все рыцари обнажили свои мечи и, подняв их вверх, потрясали ими в воздухе, как бы угрожая врагам ордена. Император отвечал чрез ви-

це-канцлера, что употребит все силы к поддержанию древнего и знаменитого Мальтийского ордена. Вслед за тем графом Литтою был прочитан акт избрания императора великим магистром державного ордена св. Иоанна Иерусалимского. Рыцари приблизились к трону и, преклонив колена, принесли, по общей формуле, присягу в верности и послушании Павлу Петровичу как своему вождю.

Желая сделать этот день еще более памятным в истории ордена, император учредил для поощрения службы русских дворян ордена святого Иоанна Иерусалимского. Устав этого ордена был прочитан самим государем с трона, а особо изданною на разных языках декларациею, разосланною в разные государства, все европейские дворяне приглашались вступить в этот орден. Павел Петрович считал себя уже обладателем Мальты, занятой еще французами, и назначил туда русского коменданта с трехтысячным гарнизоном. Вскоре была учреждена собственная гвардия великого магистра, состоящая из ста восьмидесяти девяти человек. Гвардейцы эти, одетые в



красные мальтийские мундиры, занимали во время бытности государя во дворце внутренние караулы, и один мальтийский гвардеец становился за его креслами во время торжественных обедов, а также на балах и в театре. Император с чрезвычайною горячностью сочувствовал Мальтийскому ордену и старался выразить свое сочувствие при каждом удобном случае: мальтийский осьмиугольный крест был внесен в российский государственный герб; император стал жаловать его за военные подвиги вместо Георгиевского ордена; крест этот сделался украшением дворцовых зал, и в знак своего благоволения император раздавал его войскам на знамена, штандарты, кирасы и каски. Не была забыта в этом случае даже и придворная прислуга, которая с того времени получила ливрею красного цвета, бывшего цветом военной одежды мальтийских рыцарей.

Странная тогда была пора. Католическая Европа отказывалась от всякой защиты единоверному ей рыцарскому ордену, а французы – нация, по преимуществу отличавшаяся в прежнее время рыцарства, старалась истре-

бить последний уцелевший его остаток. Неведомый прежде в России остров Мальта получил теперь первенствующее значение: о нем беспрестанно упоминали в русских газетах, о нем постоянно говорилось в обществе. Кажется, что от участи этого острова зависела судьба России. С волнением ожидали в Петербурге известий о том, что предпримут французы против Мальтийского ордена, так неожиданно поставившего себя под могущественную защиту русского императора.

Все внимание государя было обращено теперь на дела ордена, ход которых, как надобно было ожидать, должен был руководить всею внешнею политикою России. Граф Литта, главный виновник столь приятного для государя события, оттеснил всех прежних любимцев императора и получил у него чрезвычайное значение; а между тем за Литтою незаметно действовали иезуиты, идя безостановочно и твердо к своей злокозненной цели.

# XIX

В тот день, когда император принимал в Зимнем дворце мальтийских рыцарей, появился высочайший манифест, в котором Павел I был титулован «великим магистром ордена святого Иоанна Иерусалимского».

«Орден святого Иоанна Иерусалимского, – объявлял в своем манифесте новый великий магистр, – от самого своего начала благоразумными и достохвальными своими учреждениями споспешествовал как общей всего христианства пользе, так и частной таковой же каждого государства. Мы всегда отдавали справедливость заслугам сего знаменитого ордена, доказав особое наше к нему благоволение по восшествии нашем на наш императорский престол, установив великое приорство российское».

Затем в манифесте объявлялось следующее:

«В новом качестве великого магистра того ордена, которое мы восприяли на себя, по желанию добронамеренных членов его, обращая внимание на все те средства, кои восста-

новление блистательного состояния сего ордена и возвращение собственности его, неправильно отторгнутой, и вящще обеспечить могут, и, желая, с одной стороны, явить перед целым светом новый довод нашего уважения и привязанности к столь древнему и почтительному учреждению, с другой же – чтобы и наши верноподданные, благородное дворянство российское, коих предков и самих их верность к престолу монаршему, храбрость и заслуги доказывают целость державы, расширение пределов империи и низложение многих и сильных супостатов отечества не в одном веке в действо произведенное – участвовали в почестях, преимуществах и отличиях, сему ордену принадлежащих, и тем был бы открыт для них новый способ к поощрению честолюбия на распространение подвигов их отечеству полезных и нам удобных, признали мы за благо установить и чрез сие императорскою нашею властью установляем новое заведение ордена святого Иоанна Иерусалимского в пользу благородного дворянства империи всероссийской».

Манифест этот, разосланный повсюду и

прочитанный в церквах и на площадях с барабанным боем, сильно озадачил желавших вполне уразуметь его. Если в высшем петербургском обществе вследствие пребывания среди его графа Литты и знали кое-что о знаменитом и древнем ордене святого Иоанна Иерусалимского, то вне этого небольшого круга не имели о нем в России решительно никакого понятия. Никто из провинциальных дворян не знал, о чем, собственно, в манифесте идет дело, так как в самом манифесте, слишком туманно написанном, не было никаких объяснений насчет обязанностей и преимуществ членов этого «нового почтительного заведения». Поднялись разные толки среди дворянства. Догадывались, впрочем, что тут есть что-то особенно важное и что орден святого Иоанна Иерусалимского, должно быть, что-то необыкновенное, так как в конце манифеста упоминалось, что Сенату повелено внести в императорский титул и титул великого магистра, а в начале манифеста титул этот уже и явился после слов «самодержец всероссийский». В то же время в особом указе, данном Сенату, сказано было, что новый ти-

тул предоставляется поместить в общем императорском титуле по усмотрению Синода. Несмотря на ту важность, какую придавал сам император Мальтийскому ордену, Синод, вероятно, видя в принятии им звания великого магистра влияние окружавшей его католической партии, отважился поместить звание великого магистра в самом конце полного императорского титула.

Вслед за первым манифестом явился второй манифест, относившийся также к Мальтийскому ордену. В этом манифесте объявлялось:

«По общему желанию всех членов знаменитого ордена святого Иоанна Иерусалимского, приняв в третьем году на себя звание покровителя того ордена, не могли мы уведомиться без крайнего соболезнования о малодушной и безоборонной сдаче укреплений и всего острова Мальты французам, неприятельское нападение на оный остров учинившим, при самом, так сказать, их появлении. Мы почтень инако подобный поступок не можем, как наносящий вечное бесславие виновникам оногo, оказавшимся чрез то недостой-

ными почести, которая была наградою верности и мужества. Обнародовав свое отвращение от столь предосудительного поведения недостойных быть более их собратиею, изъявили они свое желание, дабы мы восприяли на себя звание великого магистра, которому мы торжественно удовлетворили, определяя главным местопребыванием ордена в императорской нашей столице, имея неперменное намерение, чтобы орден сей не только сохранен был при прежних установлениях и преимуществах, но чтобы он в почтительном своем состоянии на будущее время споспешествовал той цели, на которую основан он для общей пользы».

Поднесение императору Павлу Петровичу звания великого магистра вызвало, разумеется, искусственные восторги, хотя едва ли кто понимал, к чему все это делается. Поэзия и красноречие принялись за напыщенное объяснение этого события, но и они оказались плохими толковниками значения и духа небывалого никогда у нас рыцарства. Державин прежде всех воспел хвалебный гимн Мальтийскому ордену. Описывая прием, сде-

ланый императором рыцарям в Зимнем дворце, он воспевал:

И царь средь трона

*В порфире, в славе предстоит,  
Клейноды вокруг, в них власть и сила.*

*Вдали Европы блещет строй,  
Стрел тучи Азия пустила,  
Идут американцы в бой.*

*Темнят крылами понт грифоны,  
Льют огонь из медных жезл драконы,*

*Полканы вихрем пыль крутят,  
Безмерные поля, долины  
Обсели вокруг стада орлины  
И все на царский смотрят  
взгляд...*

Вероятно, и из наиболее просвещенных читателей этой оды не скоро могли догадаться, что под американцами, идущими в бой, разумелись жители русской Америки; под грифонами – корабли, под драконами – пушки, под полканами – конница, а под орлиными стадами – русский народ. Но именно это и было всего более кстати, так как напыщенность и туманность считались в ту пору



необходимую принадлежностью торжественных поэтических произведений.

Восторгаясь зрелищем собрания мальтийских рыцарей во дворце, Державин спрашивал:

*И не Геральды ль то, Готфриды?  
Не тени ль витязей святых?  
Их знамя! Их остаток славный  
Пришел к тебе, о царь державный,  
И так вещал напасти их.*

Оказывалось, что напасти, вещаемые рыцарями, были порождены тем, что

*Безверье-гидра появилась,  
Родил ее, взлелеял галл,  
В груди, в душе его вселилась,  
И весь чудовищем он стал.  
Растет и с тысячью глазами  
С несчетных жал струит реками  
Обманчивый по свету яд.  
Народы, царства заразились  
Развратом, буйством помрачились  
И Бога быть уже не мнят.*

Далее рыцари вещали, что «не стало рыцарств во вселенной», что «Европа вся полна

разбоев», и ввиду этого восклицали: «Ты, Павел, будь защитой ей!»

Стихотворение Державина понравилось государю, и чиновный поэт получил от него за свое произведение мальтийский осыпанный бриллиантами крест.

Духовные витии, в свою очередь, приносивались к настроению государя, и Амвросий, архиепископ казанский, произнося слово в придворной церкви, говорил, обращаясь к императору: «Приняв звание великого магистра державного ордена святого Иоанна Иерусалимского, ты открыл в могущественной особе своей общее для всех верных чад церкви прибежище, покров и заступление».

В сущности, взгляды поэта и духовного витии совпадали со взглядом Павла, так как государь думал, что, сохранив Мальтийский орден, он сохранит и древний оплот христианской религии, а, распространив этот орден и в Европе, и в России, приготовит в нем силу, противодействующую неверию и революционным стремлениям. В пылком воображении императора составлялся план крестового против революционеров похода, во главе которого

го он должен был стать как новый Готфрид Бульонский. С воскресшим рыцарством Павел Петрович мечтал восстановить монархии, водворить нравственность и законность. Ему слышалось уже как воздаяние за его подвиг благословение царей и народов и казалось, что он, увенчанный лаврами победитель, будет управлять судьбами всей Европы. Увлечение государя, проникнутого духом рыцарства, не знало пределов; с помощью рыцарства он думал произвести по всей Европе переворот и религиозный, и политический, и нравственный, и общественный. пожалование мальтийского креста стало считаться теперь высшим знаком монаршей милости, а непредставление звания мальтийского кавалера сделалось признаком самой грозной опасности.

В уме государя составилась обширный план относительно распространения мальтийского рыцарства в России. Он намеревался открыть в орден доступ не только лицам знатного происхождения и отличившимся особыми заслугами по государственной службе, но и талантам, принятием в орден ученых и пи-

сателлей, таких, впрочем, которые были бы известны своим отвращением от революционных идей. Император хотел основать в Петербурге огромное воспитательное заведение, в котором члены Мальтийского ордена готовились бы быть не только воинами, но и учителями нравственности, и просветителями по части наук, и дипломатами. Все кавалеры, за исключением собственно ученых и духовных, должны были обучаться военным наукам и ратному искусству. Начальниками этого «рыцарского сословия» должны были быть преимущественно «целибаты», т. е. холостые. Император хотел также, чтобы члены организуемого им в России рыцарства не могли уклоняться от обязанности служить в больницах, так как он находил, что уход за больными «смягчает нравы, образует сердце и питает любовь к ближним».

Намереваясь образовать рыцарство в виде совершенно отдельного сословия, Павел Петрович озаботился даже о том, чтобы представители этого «сословия» имели особое, но вместе с тем и общее кладбище для всех них, без различия вероисповеданий. С этой целью

он приказал отвести место при церкви Иоанна Крестителя на Каменном острове, постановив правилом, что каждый член Мальтийского ордена должен быть погребен на этом новом кладбище.

Слухи о беспримерном благоволении русского императора к Мальтийскому ордену быстро распространились по всей Европе, и в Петербург потянулись делегации рыцарей этого ордена из Богемии, Германии, Швейцарии и Баварии. Все эти делегации содержались в Петербурге чрезвычайно щедро, на счет русской государственной казны, и немало рыцарей, поосмотревшись хорошенько, нашли, что для них было бы очень удобно остаться навсегда в России под покровительством великодушного государя. Особенною торжественностью отличался прием баварской делегации, состоявшей собственно из прежних иезуитов, обратившихся при уничтожении их общества в мальтийских рыцарей, которые, явившись в Петербург по делам ордена, прикрыли свои иезуитские происки и козни рыцарскими мантиями.

Государь дал баварским депутатам пуб-

личную аудиенцию собственно только как великий магистр Мальтийского ордена, а не как русский император. Церемониймейстер этого ордена повез их утром во дворец в придворной парадной карете, запряженной шестернею белых коней, с двумя гайдуками на запятках; с правой стороны кареты ехал конюший, по бокам ее шли четыре скорохода, а перед нею ехали верхом два мальтийских гвардейца. В богато убранной зале принял император депутацию рыцарей. Он сидел на троне в красном супервесте, черной бархатной мантии и с короною великого магистра на голове. Справа около него стояли наследник престола и священный совет ордена, слева – командоры, а вдоль стен залы находились кавалеры; русских сановников, не принадлежавших к Мальтийскому ордену, в аудиенц-зале на этот раз не было. Предводитель депутации, великий бальи Пфюрдт поклонился трижды великому магистру и, поцеловав поданную ему императором руку, представил благодарственную грамоту великого приорства баварского, которую Павел передал графу Ростопчину, великому канцлеру ор-

дена. После того Пфюрдт произнес речь, выражавшую беспредельную признательность императору за его попечения о судьбах ордена; на речь эту отвечал от имени императора граф Ростопчин.

В то время, когда Павел Петрович с такою горячностью занимался судьбою Мальтийского ордена, дела этого ордена, по-видимому, обещали чрезвычайно запутать внешнюю политику России.

В сентябре месяце 1798 года соединенные флоты, турецкий и русский, пропущенные чрез Дарданеллы, овладели островами Зантом, Чериго и Кефалиниею, которые заняты были французами, а также овладели и самыми крепкими местностями в Албании. Порт острова Корфу был уже во власти адмирала Ушакова, и только крепость оставалась еще в руках французов. В свою очередь, английский и неаполитанский флоты действовали также успешно, отняв у французов Чивитавеккию. Такое положение дел вскоре, однако, изменилось. Императору Павлу, ставшему во главе Мальтийского ордена, этого векового борца против неверных, не приходилось уже оста-

ваться в союзе с турками, и, кроме того, он в новом своем звании считал первую для себя обязанностью выгнать французов с острова Мальты, почему русская эскадра получила повеление направиться к этому острову, соединившись там с эскадрами английскою и неаполитанскою. Условлено было, что, если союзники овладеют Мальтою, то до заключения мира с Францией будут управлять островом представители трех держав с наместником, поставленным от русского императора. Англия, однако, опасалась, что при последнем условии Россия овладеет Мальтою, почему и предложила отдать ее королю неаполитанскому с тем, чтобы русские корабли находили там такую же постоянную стоянку, как и английские. Павел Петрович решительно отказался от этого предложения, шедшего вразрез с его видами на достояние Мальтийского ордена, а между тем, король неаполитанский стал смотреть на Мальту как на принадлежащую ему собственность. Англичане, не сойдясь с Россиею, медлили своим приходом к Мальте, и обстоятельство это чрезвычайно раздражало государя. Когда наконец они при-



шли и в Петербурге стали ожидать взятия Мальты со дня на день, то оказалось, что англичане, руководившие блокадой острова, ведут это дело с умыслом так небрежно, что французы, которым приходилось уже плохо, благодаря только слабости блокады могут продержаться еще долгое время. Император с неудержимою резвостию выражал свой гнев против вероломной политики лондонского кабинета. Терпение, запас которого у него был вообще не слишком велик, скоро истощилось, и он приказал русской эскадре, оставив Мальту, удалиться на остров Корфу. Это было сигналом разрыва с Англиею – разрыва, имевшего потом чрезвычайно важные последствия.

Мальтийский орден, учрежденный в России по плану императора Павла Петровича, во многом должен был различаться от того ордена, который существовал прежде. Происхождение державного ордена св. Иоанна Иерусалимского было очень скромно. Еще в исходе IX века в Сиене был основан первый странноприимный монашеский орден. По образцу его Герард Том, родом провансалец, учредил такой же монашеский орден в Иерусалиме, при храме св. Иоанна Крестителя, построенном амальфийскими купцами. Вскоре этот орден обратился в рыцарскую общину и почти сто лет оставался на месте своего возникновения. Когда турки овладели Иерусалимом, монахи-рыцари перешли в Птолемаиду, но, когда султан Саладин взял и этот город, то иоанниты удалились на остров Кипр. В 1036 году, при великом магистре Фалкон де Вилларете, они завоевали Родос. На этом острове, получившем свое греческое название от множества растущих на нем роз и принадлежавшем в ту пору грекам, рыцари прожили спо-

койно до 1521 года, когда Родос после отчаянного сопротивления туркам, составляющего едва ли не самую блестящую страницу в истории рыцарства, был взят султаном Сулейманом. Турки овладели островом только после трех месяцев осады, сосредоточив против рыцарей 300 000 своего войска. После этого рыцари остались без всякого пристанища. Они перекочевывали из одного города в другой до тех пор, пока римско-немецкий император Карл V не уступил им острова Мальты, прославленного чудесами апостола Павла. Император дал им Мальту с обязательством, чтобы они продолжали непрестанно борьбу против мусульман и морских разбойников. Иоанниты со славою исполняли это обязательство, и великий магистр их, Иоанн де Валет, был грозю Азии и всего Востока.

В ордене св. Иоанна Иерусалимского установились со временем три разряда членов: там были настоящие рыцари, или кавалеры, священники и военнослужащие, так называемые «servienti d'armi». С самого основания ордена требовалось от желающих вступить в число действительных рыцарей доказатель-

ство благородного происхождения. Прежде не нужно было представлять подробные родословные, но когда дворяне начали вступать в неравные браки, тогда стали требовать сведения не только об отце и матери, но и двух других восходящих поколениях, которые должны были принадлежать к древнему дворянству и по фамилии, и по гербу. При этом поставлено было, что не могут быть приняты в число рыцарей те, чьи родители были банкирами, хотя бы они и имели дворянские гербы. Такое же правило было постановлено и в отношении тех, чьи родители занимались торговлею вообще или же, присвоив себе какое-либо имущество ордена, не возвратили его по принадлежности. Лица, удовлетворявшие генеалогическим требованиям, получали рыцарское звание по праву рождения «cavalieri di giustizia», но звание рыцаря могло быть в виде милости предоставлено по усмотрению великого магистра и другим в определенном, впрочем, числе лицам, которые не подходили под означенные требования. Лица эти, находясь в ордене, назывались «cavalieri di grazia». Ни в каком, однако, слу-

чае не был открыт доступ в рыцарство хотя бы самым отдаленным потомкам еврея, как по мужскому, так равно и по женскому колену. От военнослужащих, то есть от «servienti d'armi», не требовалось доказательств дворянского происхождения, но требовалось только свидетельство о том, что отец и дед вступающего в этот разряд ордена не были рабами и не промышляли каким-либо художеством или ремеслом.

При монашеском устройстве ордена одежду его членов составляла черная суконная мантия по образцу одежды св. Иоанна Крестителя, сотканной из верблюжьего волоса, с узкими рукавами, которые должны были напоминать иноку о том, что он лишился свободы. На левом плече мантии был нашит большой крест из белого полотна. Крест этот был осьмиконечный и служил символом восьми блаженств, ожидающих праведника в загробной жизни. Когда же монашеский орден иоаннитов обратился в военное братство, то для рыцарей был введен красный супервест с нашитым на груди так называвшимся мальтийским крестом. Поверх супервеста надева-

лись блестящие латы. Рыцарской одежде придавалось чрезвычайно важное значение: ее могли носить только те, которые были посвящены в рыцарский сан, и кроме того, право на эту одежду предоставлялось по орденским статутам независимым государям и тем из знатнейших дворян, которые, при их набожности и других добродетелях вносили в казну братства единовременно 4000 скудо золотом. Для женщин, принадлежавших к составу ордена, была установлена длинная черная одежда с белым осьмиконечным крестом на груди, такого же цвета и с таким же на левом плече крестом, суконная мантия и черный остроконечный клобук с черным покрывалом.

Великий магистр ордена, избираемый с особенною торжественностью из числа рыцарей, вступивших в орден по праву рождения, считался державным государем; рыцари целовали у него руку, преклоняя перед ним колени. Статут предписывал «умиленно» молиться за него. При богослужении читалась о нем следующая молитва: «помолимся, да Господь Бог наш Иисус Христос просветит и на-

ставит великого нашего магистра (имярек) к управлению странноприимным домом ордена нашего и братии нашей и да сохранит его в благоденствии на многая лета». В числе особенных прав, которые были предоставлены великому магистру, было право позволять рыцарям «пить воду», чего после вечернего колокольного звона никто, кроме него, разрешить не мог.

Орден разделялся на восемь языков или наций. Собрание одного языка составляло великое приорство того же государства и от него получало содержание. Великое приорство делилось на несколько приоратов, которые, в свою очередь, подразделялись на бальяжи, или командорства, состоявшие из недвижимых имений разного рода, и владельцы таких имений, как родовых, так и орденских, носили титул бальи, или командоров. После введения в Англии реформации, язык великобританский, как нации уже не католической, считался упраздненным до тех пор, пока Англия не присоединится опять к святой церкви.

Великий магистр управлял делами ордена

при содействии священного капитула, состоявшего из членов, избранных по два от каждого языка. Капитул собирался в заседание после обедни, причем были носимы перед великим магистром флаг и знамя ордена. Члены капитула перед открытием заседания, целуя руку великого магистра, подавали ему кошельки, на которых было означено имя каждого члена. В кошельках этих находилось по пяти серебряных монет, называвшихся «жанетами». Подача денег великому магистру должна была означать отчуждение рыцарей от их собственности. В эти же кошельки клались записки членов капитула с их мнениями относительно дел, подлежащих обсуждению в заседании капитула.

Одним из правил, введенных при самом основании ордена, было общежитие. Живя все вместе, рыцари составляли конвент. На практике было сделано, однако, отступление от этого правила, и от рыцаря требовалось только, чтобы он или сряду пять лет, или хоть в разное время, но в общей сложности пробыл в конвенте такое же число лет. Без особого дозволения великого магистра, вне его ме-



стопребывания, города Ла-Валлетты, не мог ночевать ни один рыцарь, живший в конvente. За общим рыцарским столом положено было отпускать на каждого рыцаря в день, по крайней мере, один фунт мяса, один графин хорошего вина и шесть хлебов. В постные дни мясо заменялось таким же количеством рыбы и яйцами.

Кроме обетов человеколюбия, рыцари давали обет искоренять «магометанское исчадие». Они должны были обучаться военному искусству и совершить, по крайней мере, пять так называвшихся «караванов». Под словом «караван» подразумевалось плавание на галерах ордена с 1 июля по 1 января или с 1 января по 1 июля, так что в общей сложности каждый кандидат в рыцари должен был проплавать в море по крайней мере два с половиною года. Пребывание в караванах считалось искусом. После чего новициат, удовлетворявший всем условиям, принимался в число рыцарей с соблюдением торжественных обрядов. Он приносил обет послушания, целомудрия и нищеты и давал клятву положить свою жизнь за Иисуса Христа, за знамение живо-

творящего креста и за своих друзей, то есть за исповедовавших католическую веру. В силу обета целомудрия мальтийский рыцарь не только не мог быть женат, но даже не мог иметь в своем доме родственницы, рабы или невольницы моложе пятидесяти лет.

Желающего вступить в число рыцарей должен был представить один из имеющих рыцарское звание, и после удостоверения о благородном происхождении новициата назначался день его посвящения в число членов ордена.

Поступающий в рыцари приходил до начала обедни в церковь, в широкой, неподпоясанной одежде, что должно было означать ту полную свободу, которою он пользовался до вступления в рыцарство. Он становился на колена, а принимающий его в орден давал ему в руку зажженную свечу и спрашивал его: «Обещает ли он иметь особое попечение о вдовах, сиротах, беспомощных и о всех бедных и скорбящих?» На этот вопрос принимаемый давал утвердительный ответ по установленной форме. После того приниматель вручал ему обнаженный меч, говоря, что меч

этот дается ему на защиту бедных, вдов и сирот и для поражения всех врагов святой католической церкви. Затем принимабель ударял посвящаемого своим обнаженным плечом три раза плашмя по правому плечу, говоря, что хотя такой удар и наносит бесчестие дворянину, но что удар этот должен быть для него последним. После этого посвящаемый поднимался с колен и три раза потрясал своим мечом, угрожая врагам католической церкви. По окончании этого обряда принимабель вручал посвящаемому золотые шпоры, замечая, что они служат для возбуждения горячности в конях, а потому должны напоминать ему о той горячности, с какою он обязан исполнять даваемые им теперь обеты. Что же касается собственно золотых шпор, надеваемых на ноги, которые могут быть и в пыли, и в грязи, то это знаменует презрение рыцаря к сокровищам, корысти и любостыжанию.

После обедни происходил окончательный прием новициата в число рыцарей.

По заявлении принимаемого, что он имеет твердое намерение вступить в знаменитый орден св. Иоанна Иерусалимского, принима-

тель спрашивал его: «Хочет ли он повиноваться тому, кто будет поставлен над ним начальником от великого магистра?» «В этом случае, – отвечал принимаемый, – я обещаюсь лишиться себя всякой свободы». Затем следовал вопрос: не сочетался ли принимаемый браком с какою-нибудь женщиною? Так как безбрачие составляло существенное условие для поступления в орден, то принимаемый давал на этот вопрос отрицательный ответ. «Не состоишь ли ты порукою по какому-нибудь долгу и сам не имеешь ли долгов?» – спрашивал в заключение принимаемый. И на этот вопрос требовался отрицательный ответ.

По окончании вопросов принимаемый клал правую руку на раскрытый «Служебник» и торжественно обещался до конца своей жизни оказывать безусловное послушание начальнику, который будет ему дан от ордена или великого магистра, жить без всякой собственности и блюсти целомудрие. На первый раз в знак послушания он по приказанию своего принимаемого должен был отнести «Служебник» к престолу и принести его оттуда снова. Затем должен был прочитать вслух

подряд 150 раз «Отче наш» или столько же раз канон Богородице.

По исполнении всего этого приниматель показывал посвящаемому вервие, бич, кольцо, гвоздь, столб и крест, упоминая, какое значение имели эти предметы при страданиях Христовых, и внушал, что обо всем этом он должен вспоминать сколь возможно чаще, и в заключение клал принимаемому вервие на шею, говоря, что это ярмо неволи, которое он должен носить с полною покорностью. Затем рыцари приступали к новициату, облакали его в орденское одеяние при пении псалмов, и каждый троекратно целовал его в губы, как своего нового собрата.

Императору Павлу должна была нравиться подобная рыцарская обрядность, так как он и при пожаловании им голштинского ордена св. Анны из своих рук всегда соблюдал существенный рыцарский обряд; получивший орден становился на колени перед императором, который три раза ударял его по плечу своею обнаженною шпагою.

В 1800 году появилась напечатанная в С. – Петербурге «в императорской» типографии

книга под следующим заглавием: «Уложение священного воинского ордена святого Иоанна Иерусалимского, вновь сочиненное по повелению священного генерального капитула, собранного в 1776 году, под начальием его преимущественного высочества великого магистра, брата Емануила де-Рогана. В Мальте 1782 года напечатанное, ныне же, по высочайшему его императорского величества Павла Петровича повелению, с языков итальянского, латинского и французского на российский переведенное». Книга эта, кроме постановлений, изданных орденским капитулом, и указов, данных великими магистрами, содержит в себе папские буллы и жалованные ордену папами грамоты. Вся эта книга проникнута беспредельною преданностию к святейшему престолу и римско-католической церкви. Преданность эта является вообще отличительной чертою книги, в особенности же в молитвах, в ней приводимых. Рыцари молились за папу, кардиналов и прелатов. Все это должно было удивлять читателя, знавшего, что главою ордена был русский император. С своей стороны, переводчики, как надобно

предполагать, хотели смягчить странность таких отношений иноверного государя к папе тем, что слово «католический» заменили словом «кафолический», как будто подразумевая восточную церковь, но при такой уловке вся несообразность выступала еще ярче. Самое предисловие к подобной книге поражало странностью. Упомянув о том, что император Павел I принял сан великого магистра, трое переводчиков этой книги, состоявших в ведомстве иностранной коллегии, обращались к императору с следующими пожеланиями: «буди в обладателях царств болий, яко же Иоанн Креститель, защитник сего ордена. Крестом Предтечи побеждай, сокрушай, низлагай, поражай всех супостатов, измождай плоти их, да дух спасается и буди им страшен паче всех царей земных». Между тем в самой книге все желаемые переводчиками победы, сокрушения, низложения, поражения, измождения и устрашения относились исключительно к торжеству и благоденствию католичества, и, как на венец всех рыцарских добродетелей, указывалось в книге на готовность членов ордена положить душу за други своя,

сиречь католиков, т. е. собственно католиков – последователей римской, а не какой-либо другой христианской церкви.

Появление этой книги возбудило тревогу и опасения среди русского духовенства...



Стоял невыносимо жаркий июньский день, си сильно пекло солнце с ярко-голубого неба, по которому не пробегало ни облачка в то время, когда по дороге от Петербурга к Павловску медленно двигался какой-то странный поезд. Открывал его всадник в черном полукафтаны, поверх которого был надет красный суконный супервест, наподобие рыцарских лат, а сверху была наброшена черная мантия. На груди всадника виднелся большой черный круг с изображением на нем белого осьмиконечного креста. Всадник этот держал в руках серебряный маршальский жезл. Голова его была покрыта небольшим бархатным беретом, над которым развевались черные, красные и белые страусовые перья. За этим всадником следовал конный литавщик в серебряных латах и в серебряном шишаке с черным волосяным гребнем, а за ним несколько трубачей, одетых так же, как и он, и почти безумолчно наигрывавших марш, напоминавший по своему мотиву торжественный церковный гимн. За трубачами

следовала придворная вызолоченная с зеркальными стеклами карета. В ней на первом месте сидел с непокрытою напудренной головою какой-то важный господин, одетый в черную суконную мантию. На малиновой бархатной подушке с золотыми кистями, положенной на его коленах, он держал большую серебряную коробку. Напротив него на переднем месте в карете сидели двое других, одетых так же, как он, в черные мантии с белыми крестами на плече. Карета была запряжена шестеркою прекрасных в богатой позолоченной упряжке коней, которых вели под уздцы пудренные в треугольных шляпах лакеи, в красных ливреях с золотыми галунами. В другой такой же карете сидели поезжане, одетые также в черные мантии; из них занимавший первое место держал на коленях положенный на подушке меч в золотых ножнах и с золотою рукояткой; а в третьей такой же карете, ехавшей на первом месте, вез на подушке высокую корону, состоявшую из нескольких золотых суженных кверху под крестом золотых полос, осыпанных драгоценными камнями. За этой каретой следовала

блиставшая позолотой четырехместная коляска. В ней сидел господин в черной мантии и в таком же берете, какой был на голове у всадника, ехавшего впереди поезда. Он держал в руках большое на черном древке красное знамя с белым осьмиконечным крестом. За коляской следовало несколько карет, в которых сидели одни только мужчины, одетые в черные мантии. Отряд кавалергардов в блестящих серебряных латах и таких же шишаках замыкал поезд. Его беспрестанно обгоняли кареты, которые спешно катили в Павловск и в которых все поезжане были одеты или в черные мантии, или в красные супервесты.

Павловск, недавно основанный великим князем Павлом Петровичем, считался именем супруги его великой княгини Марии Федоровны и был ее любимым местопребыванием. Павловск, в котором хозяйкою была императрица Мария Федоровна, резко отличался от суровой Гатчины. В Павловске вместо казарм, манежей и кордегардии был устроен розовый павильон наподобие павильона, существовавшего в Трианоне. В павловском парке

были и искусственные развалины, и швейцарские хижинки, и мельница с фермой, заведенная по образцу тирольских ферм. Расположение для некоторой части садов, а также устройство больших террас были заимствованы из Италии; большая аллея, шедшая от дворца, напоминала аллею, бывшую в Фонтенбло. Все это было далеко от той однообразной, скроенной на прусский лад внешности, какую отличалась Гатчина, где беспрестанно слышались барабаны, рожки и командные возгласы, тогда как Павловск каждый вечер оживлялся концертами, балами, спектаклями и увеселительными поездками с звонким и веселым смехом молоденьких женщин.

Сделавшись императором, Павел I проводил, по обыкновению, некоторую часть летнего времени и в этой новой загородной резиденции, как бы в гостях у своей супруги, а теперь туда из Петербурга, накануне Иванова дня, торжественно везли, по повелению государя, хранившиеся в бриллиантовой комнате Зимнего дворца регалии великого магистра Мальтийского ордена, так как на этот раз в Павловске должно было происходить обыч-

ное у мальтийских рыцарей празднование памяти Иоанна Крестителя, покровителя ордена. Туда же на празднество должны были приехать и все жившие в Петербурге кавалеры, а их было уже немало, так как не проходило почти ни одного дня, чтобы император не жаловал новых кавалеров и командоров. В Павловск предписано было также собираться для парада гвардейским полкам. Вследствие этого пустынная в обыкновенное время дорога между столицею и Павловском была теперь чрезвычайно оживлена. Густая пыль стояла над нею, и задыхавшиеся от жары в каретах и в своих не летних нарядах кавалеры были крайне недовольны изнурительною поездкою, опасаясь вдобавок к этому, что они какую-нибудь малейшею оплошностью в соблюдении всех орденских порядков и обрядов навлекут на себя, чего доброго, грозный гнев великого магистра. Каждый из них с затаенным в душе беспокойством думал только о том, чтобы поскорее и счастливо отбыть предстоящее торжество и затем благополучно возвратиться восвояси. Встречавшиеся по дороге с поездом проезжие и прохожие почти-

тельно снимали перед ним шапки и в недоумении смотрели ему вслед, не зная, что такое происходит перед ними.

Когда поезд стал приближаться к Павловску, собравшиеся в тамошнем дворце кавалеры вышли к нему навстречу попарно и по назначенному заранее между ними распределению приняли привезенные мальтийские регалии: государственную печать с изображением великого магистра Павла Петровича, находившуюся в серебряной коробке, меч, называвшийся «кинжалом веры», корону и знамя. Построенные на площади перед дворцом полки отдали регалиям великого магистра воинскую честь, подобавшую по тогдашним артикулам коронованным особам, и затем регалии при бое барабанов и при звуках музыки были торжественно отнесены в главную дворцовую залу.

Что же будет здесь делаться? В чем же будет состоять праздник? – спрашивал каждый, смотря на шедшие перед дворцом загадочные приготовления. На находящуюся перед дворцом площадь приехало несколько возов с дровами, хворостом и ельником, и из этих мате-

риалов рабочие стали складывать, по указанию одного из членов орденового капитула, большие костры. Костры были вышиною аршина в два, а в длину и ширину имели полтора аршина. Поверх их были положены венки из цветов, а бока их были убраны гирляндами из ельника. Таких костров было приготовлено девять. В некотором от них расстоянии разбили палатку из полотна с черными, белыми и красными полосами. Около пяти часов вечера приведены были на дворцовую площадь гвардейские полки, которые и выстроились по трем сторонам площади. В этом строю особенно бросались в глаза тогдашние гусары в так называвшихся «барсах». На плечах у гусаров вместо ментиков были накинута барсовые шкуры головою вниз, подбитые красным сукном с серебряным галуном и такою же застежкой, состоявшею из круглого серебряного медальона с вензелем императора и сдерживавшею на груди гусара одну из лап барса с его хвостом. Гусарская сбруя была черная, отделанная серебряными бляхами. Несмотря на множество собранных здесь людей, на площади царила мертвая тишина в

ожидании какого-то необыкновенного зрелища. Ровно в семь часов вечера все мальтийские кавалеры, прибывшие в Павловск, явились на площадь и, став попарно, вошли во дворец. Спустя несколько времени они в том же порядке стали выходить оттуда с главного подъезда, причем младшие кавалеры несли в руках зажженные факелы, а старшие несли их незажженными. В числе старших кавалеров были и духовные лица, и между ними первое место занимал архиепископ Амвросий, исправлявший при великом магистре должность «призрителя бедных». Торжественным и медленным шагом выступили на площадь мальтийские рыцари в беретах с перьями, в красных супервестах с накинутыми поверх их черными мантиями; такие же мантии, но без супервестов и беретов были наде-ты и на духовных особ. В замке рыцарей в одежде великого магистра с короною на голове шествовал император, держа в руках незажженный факел. Отступая несколько шагов от него, шли его «оруженосцы», с одной стороны граф Иван Павлович Кутайсов, а с другой – князь Владимир Петрович Долгоруков, шеф



кавалергардского корпуса, с обнаженным палашиом. За этой процессией показалась императрица с ее семейством в сопровождении многочисленной и блестящей свиты. Она вошла в приготовленную для нее на площади палатку, чтобы смотреть оттуда на должноствававшую происходить церемонию.

В глубоком молчании, с благоговейным выражением на лицах двигались по площади мальтийские кавалеры. Исполняя установившийся в ордене святого Иоанна Иерусалимского обычай – праздновать канун Иванова дня, они, идя по два в ряд, обошли все девять костров по три раза. Солдатики с удивлением посматривали на эту невиданную еще ими «экзерцицию». После троекратного обхода костров император, великий князь Александр Павлович и граф Салтыков зажгли у младших кавалеров свои факелы и потом начали зажигать ими разложенные на площади костры, или так называемые «жертвенники», причем им помогали младшие кавалеры, обступившие со всех сторон костры. От загоревшегося ельника поднялись клубы черного дыма, но, когда дым рассеялся, костры начали гореть

ярким пламенем. Кавалеры стояли молча и неподвижно около костров, пока костры, обгорев, не стали разваливаться, и тогда они с тою же торжественностию и тем же порядком возвратились во дворец, где в залах, по которым они проходили, были расставлены кавалергарды.

Рано утром в самый день праздника император произвел парад войскам, собравшимся в Павловске, затем в дворцовой церкви отслужена была обедня. Все ожидали каких-нибудь дальнейших торжеств, но они были отменены, не было даже парадного обеда. Государь смотрел пасмурно, и нетрудно было догадаться, что он был чем-то недоволен или сильно озабочен.

Наступил тихий летний вечер, пробили зорю, и позаморившиеся вчерашним походом и сегодняшним парадом солдаты, покончив слишком нелегкую в ту пору чистку амуниции и оружия, собирались уже отдохнуть на привале, как вдруг раздалась тревога, забили барабаны и завизжали рожки. Офицеры и солдаты опрометью кинулись по своим местам. Метавшиеся из стороны в сторону адъ-

ютанты объявили приказ государя, чтобы находившиеся в Павловске войска через полчася выступили в поход по направлению к Петергофу. Все вострепнулись, засуетились, забегали, и приказ государя был исполнен в точности без малейшего промедления. Длинной вереницей потянулись из Павловска по большой дороге пехота, кавалерия и артиллерия, и среди конского топота и грохота двигавшихся орудий слышались громкие крики командиров, старавшихся поддержать в своих частях стройность тогдашней военной выправки во всех ее мелочах.

– Слышь, как орет господин Прокопов, – сказал один служивый шедшему с ним облокоть товарищу, показывая на кричавшего во все горло пехотного офицера, – видно, желает, чтобы царь снова его голос слышал и опять явил бы ему свою милость.

– А разве с ним что-нибудь такое было?.. Я здесь человек новый и ничего еще о господине Прокопове не слыхивал, – проговорил солдатик.

– А вот поди же ты, братец мой, какое счастье людям ни с того ни с другого бывает.

Правда и то, что он уж больно отважен, не у всякого такой бесстрашности хватит, а все-таки как ни на есть, а нужно счастье, а то всю жизнь протрадаешь.

– А что же с ним случилось? – с любопытством спросил новичок.

– Да вот что. Как бывает государь в Гатчине летнею порою, то, откушав, он после обеда садится в кресла на балконе, да и любит вздремнуть здесь часик-другой, как и все мы, грешные. Славно эдак ему в прохладке спится!.. А как сядет он в кресла, то такая тишь наступит, словно все замрет. Кругом всего дворца караульных расставят, чтобы никто близко ко дворцу ни подойти, ни подъехать не смел; издали еще мы каждому машем, хоть бы и самый первый генерал был: не ездят, мол, и не ходят – царь поживает! Ничто не стукнет, не брякнет, пчела зажужжит у дворца, так и ту слышно будет. Вот этак мы в тишине и стоим, еле дух переводим, как вдруг кто-то гаркнет: «слу...у...шай!», да, я тебе скажу, гаркнет так, как мы никогда и не слыживали! Все мы так и обмерли. Ну, быть беде, а на караульном офицере и лица не стало: по-

бледнел, сердечный, словно покойник, да и недаром. Выбежал со всех ног из дворца царский адъютант и требует его к государю.

«Кто смел крикнуть «слу...у...шай!», – спросил государь у офицера, да спросил, я тебе скажу, так, что лучше бы и не спрашивал.

– Эх, ведь, поди, какая беда вышла! – с выражением испуга на лице проговорил молодой солдатик.

«Не знаю, ваше императорское величество!» – со страху ни жив ни мертв, прошамкал его благородие.

«Как не знаешь? Да на что же ты в карательные офицеры поставлен!.. – крикнул царь. – Ступай и в сей же час отыщи мне виновного...»

Пошли допросы, перерасспросы, а виновного налицо нет как нет. Офицерик наш в слезы, да и говорит:

«Братцы, голубчики, отцы родимые, товарищи задушевные, не погубите меня!.. Возьми кто-нибудь вину на себя, как у государя от сердца гнев отляжет – всю правду ему скажу, а теперь виновного представить нужно». Жаль нам стало господина офицера, хороший

был барин... да что же нам делать-то, на всех ужас напал превеликий; все стоим да и молчим, а в ту пору в карауле был меж рядовых вот этот самый ныне господин Прокопов; он по породе из кутейников, хотел было пойти в дьяконы, глотка-то у него здоровая-прездоровая, да сильно запил; его в солдаты и сдали. Парень, я тебе, был куда выносливый: ни розги, ни палки, ни фухтеля донять его не могли; бывало, ведь как его отлупят, а он, смотришь, и не поморщится, словно только из жаркой бани на свежий воздух вышел. Выступил он вперед и говорит:

«Да что, ваше благородие, долго толковать? Жаль мне вас больно стало: возьму вину на себя».

Мы все так и примерли, а офицер-то целовать его бросился... Повел молодца наверх к государю. Ну, думаем мы, пропадшая душа.

«Это ты крикнул: «слу...у...шай!» – спросил царь.

«Я, ваше величество!» – не моргнув глазом ответил Прокопов.

«А зачем?»

«Да вздумалось мне вдруг к ночной кара-

ульной службе около вашего императорского величества готовиться. Все сразу забылось – словно кто память отшиб, такая охота ни с того ни с чего взяла...» – говорит он это, да и прощенья не просит.

Государь ухмыльнулся.

«Ну, а крикни при мне...»

Как рывкнул он, так я тебе скажу, что тут было: кто присел на пол, а кто заткнул уши.

«Молодец!.. Экой у тебя славный голосище! В унтера его и выдать ему сто рублей за усердие к службе», – назначил царь.

Вот какое царское решение вышло. Как пришел Прокопов к нам в кордегардию, так мы ни ушам, ни глазам не верим и дивимся только, что живым вернулся. Разумеется, после того начальство в уважение его взяло: «Мало того, говорит, что отважный сам по себе, да и командира своего от неминуемой беды собою заслони, значит – хороший человек». Стали ему усердствовать, парень он грамотный – и попал в офицеры. Государь его и теперь помнит и иной раз как увидит, так повелит его прокричать «слушай!» и за голосище всегда хвалит.

– Чудно, больно чудно, – проговорил, покачивая головою, солдатик, – а кто ж заправски-то кричал?

– А вот поди же ты, ведь такой шальной нашелся – пажик, по фамилии Яхонтов. Знаешь, внизу во дворце живут барышни, что при государыне служат, фрелины называются. Ведь он словно с ума от них сошел, о государе-то вовсе забыл, вздумал их попутать, подкрался под их окошко да вдруг и крикнул. Ну, благо все подобру-поздорову кончилось.

– А что, Савельич, это за народ давече из-за дворца повыходил, монахи, что ли, какие?..

– Да кто их знает! Видел я, что промеж их и заправские архиереи были. Слыхал, что «лыцарями» прозываются, от местов их, что ли, отставили, да царя их в полон недруги взяли, так вот наш-то их под свою руку принял.. Чудны что-то больно... Ничего, братец ты мой, нынче в толк не возьмешь. Иной раз послушаешь, что господа офицеры промеж себя заговорят, так сейчас и отойдешь, от беды бы быть только подальше... Не нашего, брат, ума дело...

Только что проговорил эти слова Саве-



льич, как между солдатами началось какое-то беспокойное движение.

— Едет, едет! — сперва закричали, а потом шепотом заговорили они. Более смелые из них обернулись назад. В полумраке летней ночи, стущавшейся в лесной просеке, чернелись вдали на дороге два всадника, и по посадке одного из них привычный зоркий глаз мог легко признать, что к войскам подъезжал император. Действительно, это был он, в сопровождении графа Кутайсова. Кто перекрестился, кто вздохнул, кто в каком-то отчаянии замотал головою, как будто ожидая беды.

Все встрепенулись, подтянулись, выровнялись и смолкли. Слышались только дружно и мерно отбиваемые шаги солдат, в совершенстве наученных ходить в ногу, да порою то здесь, то там раздавалось нетерпеливое ржанье коня, принужденного всадником идти не по своей воле.

Подъезжал к войску государь скорою рысью; обогнав голову колонны, он остановился на дороге и, пропустив мимо себя войска, повернул назад в Павловск, не сказав никому ни слова. У всех словно полегчало на сердце,

но не скоро оправились и начальники и солдаты от внезапного испуга. Все шли, соблюдая строгий порядок и только по временам боязливо посматривали вслед медленно уезжавшему государю. В глубокой задумчивости, не вступая в разговор со своим спутником, возвращался он домой; на пути он приостанавливал несколько раз своего коня и внимательно прислушивался к гулу отдалявшегося от него войска...

С лишком неделю в сельце Гнездиловке, в усадьбе помещика Степана Степановича Рышкина, с нетерпением ожидали привоза почты из соседнего уездного города, куда отправился за получением ее нарочный. Промедления почты вообще тогда были очень часты, так как по почтовому управлению порядки велись очень плохо, а на этот раз, за наступившею распутицею, почта опоздала более обыкновенного. Между тем для Степана Степановича минуты ожидания были страшно томительны. Он был человек и любопытный и болтливый; для него всегда приятно было узнать первому что-нибудь важное из газет или из писем и потом рассказывать не без некоторых, впрочем, прикрас своим деревенским соседям. Степан Степанович любил подзаяться и политикою, а теперь именно была такая пора, что потолковать было о чем: в народе начали ходить слухи о скорой войне и о разных распоряжениях, клонившихся к походу войск, но против кого начнут войну — это никому не было известно. Нетерпение поме-

щика-политикана усиливалось еще более потому, что к нему в усадьбу собрались гости, которых он любил попотчевать не только снедями и питиями, но и своими разговорами и рассуждениями, казавшимися ему самому и глубокомысленными, и поучительными. В ожидании привоза почты гости-помещики с их хозяином принялись судить и рядить о том и о другом по прежним устарелым известиям с добавкою собственных измышлений, причем их в особенности занимал первый дошедший уже до них манифест государя о Мальтийском ордене, но никто пока не мог домыслиться, о чем, собственно, в этом манифесте шло дело. Несколько раз все они вкуче перечитывали этот торжественный государственный акт, но никак не могли уразуметь, что именно требуется от русского дворянства и при чем оно здесь будет. Толковали, толковали между собою на разные лады, но в конце концов оказывалось, что ровно до ничего добраться не смогут. Во время этих жарких разговоров на пороге помещичьего кабинета показался дворецкий с кипой писем и пакетов в руках.

– Ермил, сударь, почту привез из города, – сказал он, подавая часть принесенного Степану Степановичу. – Это – вам, в это – их милости барыне.

С выражением жадности на лице выхватил Рышкин письма и пакеты из рук дворецкого и, быстро сорвав печать с одного конверта, принялся читать про себя письмо от дяди его жены, занимавшего в Петербурге по служебной части довольно высокое место. Едва Степан Степанович прочитал несколько строк, как краска удовольствия разлилась по его полному и добродушному лицу.

– От кого это письмо к тебе? – спросил Табунов, самый близкий приятель Рышкина.

– От дядюшки Федора Алексеича.

– Ну, должно быть, в нем немало наилюбопытнейших вещей. В Петербурге он – человек большой, и ему многое заранее должно быть известно. Что ж нового он сообщает? – спросил Табунов.

– Приглашает меня быть командором знаменитого Мальтийского ордена, – с самодовольным видом, выпячивая вперед свое кругленькое брюшко, проговорил Рышкин, – на-

добно скорее показать это письмо Катерине Александровне; она этому порадуется; ей все желается, чтобы я важною персоною стал.

– Вот как!.. В командоры, сие то же, что в командиры зовут, должно быть – звание высокое; да что же ты там, Степан Степаныч, станешь делать?

– не без насмешливой зависти проговорил Лапуткин, один из гостей и соседей Рышкина.

– Что прикажут, то и буду делать, – не без сердца отозвался Рышкин. – Не весь же век мне у себя в усадьбе землю пахать. Благодарение Господу, от родителей хороший достаток наследовал. Захочу, так будет чем и при царском дворе показать себя – и там в грязь лицом не ударю.

– Что об этом толковать! – поддакнул один из мелкопоместных помещиков Пыхачев. – Только пожелать тебе стоит, так в люди, как выйдешь: и умом возьмешь, и деньжонки есть, да и милостивцы при дворе отыщутся.

– Дядюшка Федор Алексеич пишет мне из Петербурга вот что, – сказал Рышкин, поднося письмо поближе к глазам, и он, не слишком бойко разбирая письмо, принялся читать сле-

дующее:

«Любезнейший мой племянник, Степан Степанович! Посылаю тебе при сем копию с высочайшего его императорского величества указа об установлении в пределах Российской империи знаменитого ордена святого Иоанна Иерусалимского. Из сего указа ты усмотришь сможешь, в чем оное заведение состоит, и полагаю я, что ты поспешишь воспользоваться теми почестями и преимуществами, кои тебе, как российскому дворянину, по сему ордену приобрести можно. Благодарение твоему покойному родителю, от него ты получил такой наследственный достаток, что, согласно изложенных в указе правил, можешь учредить и для себя самого, и для одного из твоих сыновей родовое командорство, что, несомненно, к чести и увеличению достоинства вашей благородной фамилии господ Рышкиных послужить возможет. Его императорское величество учреждение таковых командорств с особым знаком монаршего благоволения приемлет и на учреждение оных все милостивейшее и всевысочайшее свое внимание обращать соизволит. Потщись же об устройении

фамильного командорства; хлопоты по сему важному делу принять я на себя могу, но для избежания всяких затруднительных okazji удобнее было бы приехать тебе самому в Санкт-Петербург, тем паче, что, быть может, всеавгустейший монарх пожелает тебя лицезреть, узнав о похвальном твоём намерении, российского дворянина достойном. Подготовь только благовременно все требуемые по оному делу доказательства твоего благородства. Как командор, т. е. как один из старших мальтийских кавалеров, или все равно рыцарей, ты будешь носить на шее большой белый финифтевый крест на широкой ленте с изображением золотых лилий между крыльями оного. Регалия сия весьма красива и в Санкт-Петербурге почитается ныне важнее всяких крестов и звезд. Кроме сего, предоставится тебе ношение красного супервеста, который есть нечто вроде женской кофты без рукавов, а поверх оного полагается черная суконная мантия с белым крестом на плече и при оной мантии круглополая шляпа с разноцветными перьями, или же малая, называемая беретом. Сие одеяние, яко почетное рыцарское, и при



дворе, и во всей столице паче всякой модной одежды почитается. Высылаю тебе при сем и копию с той записки, в которой начертание истории Мальтийского ордена имеется. Записка сия редкостная, и с немалым трудом добыть мне оную удалось, и хотя в ней ничего, по разумению моему, предосудительного и недозволенного в отношении правительства не встречается, но во всяком случае, обращайся с нею осторожнее, дабы чрез сие каких-либо замешательств и досадительств не вышло. Слышал я также, что преотличная сего ордена на французском языке история имеется, в коей все в наипространнейшем виде и изящнейшем штилем изложено, и написана она неким аббатом Вертотом, но за давностию ее выпущения в свет и за ее стоимостию она нигде ныне в продаже не обращается. Впрочем, и из прилагаемой при сем записки как цель и дух того рыцарства, к которому ты, любезнейший мой племянник, принадлежать ныне можешь, так равномерно и все изящнейшие добродетели сего знаменитого учреждения в достаточной полноте усмотришь».

Письмо оканчивалось сообщением изве-

ствий о родных и знакомых и обычными в то время родственными пожеланиями с присо-вокуплением к ним почтений и поклонов для раздачи по принадлежности разным высокопочтеннейшим или любезнейшим персонам.

В приписке к письму значилось: «позабыл написать тебе, что все мальтийские кавалеры, или рыцари, к высочайшему императорскому двору свободный вход имеют и во всех торжествах и церемониальных случаях в полном своем облачении обретаться могут».

Степан Степанович не верил возможности такого счастья: для него, отбывшего военную службу только в ранге сержанта гвардейского Семеновского полка, попасть прямо в такой почет при царском дворе казалось неестественною мечтою, и он, озабоченный предложением дяди, быстро забежал по комнате, обдумывая благодарственное письмо к своему родственнику и не обращая внимания на своих гостей, которые, и в свою очередь, были немало заинтересованы этою новостью.

— Ну что ж, командором будешь, что ли? Да распечатывай поскорее пакет; в нем, должно быть, и есть царский указ, и мы уви-

дим, наконец, что от российского дворянства в оном случае требуется, – заговорил Лапуткин.

Степан Степаныч словно опомнился и, распечатав пакет, достал оттуда печатные указы. Гости сели в кружок около хозяина, который принялся за чтение указов. Из них оказалось, что государь, независимо от того великого приорства Мальтийского ордена, которое существовало уже в польских областях, учредил еще особое великое приорство российское, в которое могли вступать дворяне «греческого закона». На содержание этого приорства он повелел отпускать ежегодно из государственного казначейства по 216 000 рублей. «Новое сие заведение», говорилось в указе, должно было состоять из 98 командорств. Из них два командорства приносили шесть тысяч рублей ежегодного дохода их владельцам, четыре командорства – по четыре тысячи рублей, шесть – по три тысячи, девять – по две тысячи, шестнадцать – по полторы тысячи и шестьдесят – по тысяче рублей.

– Но в эти командорства нам, господа, никогда не попасть, – с печальной насмешкою

проговорил Табунов. – А куда как хорошо было бы получать по шести тысяч в год!

– И тысячкой удовлетвориться можно было бы, – проговорил, облизываясь, Лапуткин.

Далее из указа стало известно, что владельцы командорств обязаны были вносить в казначейство так называемые «респонсии», т. е. по 20 проц. с ежегодного дохода, получаемого ими с пожалованных командорств; что первые командоры должны быть назначены по непосредственному усмотрению самого императора; но что впоследствии командорства будут жалуются по старшинству вступления в орден, причем, однако, никто не может владеть одновременно двумя командорствами. Право на командорство предоставлялось тем, кто сделал четыре каравана на эскадрах, ордену принадлежащих, или в армиях, или на эскадрах российских, причем шесть месяцев кампании считается за один караван.

– Ну, господа, все это не по вашей части: мы ни в каких походах не бывали по стольку времени, да и по морям, кажись, не плавали. Читай, Степан Степанович дальше, не подыщется ли что-нибудь и для нас, грешных? –

сказал Пыхачев.

Степан Степанович, ходивший в поход при Екатерине только под шведа, ненадолго время, да и то лишь верст за двадцать от Петербурга, несколько опешил, узнав, что он своею службою не удовлетворяет требованиям, заявленным в царском указе. Но он повеселел, когда прочел другой указ, в котором было сказано, что «всякий дворянин, облеченный кавалерскими знаками знаменитого ордена святого Иоанна Иерусалимского, пользоваться будет достоинством и преимуществами, сопряженными с офицерскими рангами, не имея, однако, ни назначаемого чина, ни старшинства. Не имеющий же высшего чина при вступлении в службу принимается прапорщиком».

– Значит, что, в силу одного указа, не только никаких походов и плаваний, но даже и никакого офицерского ранга не требуется, – проговорил Рышкин, – коли зауряд в прапорщиках состоять можно?

– Должно быть, что так, – отозвались его собеседники, и они вполне убедились в этом предположении, когда Степан Степанович

прочитал третий указ, начинавшийся словами: «Всякий дворянин имеет право домогаться чести быть принятым в орден святого Иоанна Иерусалимского». Из того же указа оказывалось, что в ордене существуют две присяги: одна в малолетстве до пятнадцати лет, а другая – в совершенном возрасте; что в орден принимаются дворяне для доставления ему защитников и воинов, а так как члены его до пятнадцати лет не могут оказывать ему военной услуги, то с них при приеме в орден взимается вдвое против совершеннолетних, т. е. по 2400 рублей, тогда как с совершеннолетних берется только 1200 рублей. Далее в указе говорилось, что так как орден св. Иоанна Иерусалимского – военный и дворянский, то желающий вступить в него должен доказать, что происходит от предков, приобретших дворянство военными заслугами; что деды его и прочие предки были дворяне и что их благородное происхождение существует не менее ста пятидесяти лет. Кроме того, желающий вступить в орден должен предоставить удостоверение, что он «благородного поведения, беспорочных нравов и к военным

должностям способен». Принятие желаемого вступить в орден должно происходить по баллатировке. Сверх того, в силу этого же указа, дворянам, представившим требуемые в указе доказательства о происхождении, дозволялось учреждать родовые командорства, определив для того имения с ежегодным доходом не менее как в 3000 рублей и платя с этого дохода соответственную «респонсию» в орденскую казну.

Это последнее право как нельзя более по душе Степану Степановичу, и между помещиками начались толки о новом рыцарском ордене. Толки эти доказывали, однако, что и после прочтения всех указов представители русского дворянства все-таки не имели ясного понятия, для чего учреждается орден и что будут делать его кавалеры и его командоры.

Еще сильнее разгорелось в Рышкине желание сделаться кавалером Мальтийского ордена, когда через несколько дней после получения Степаном Степановичем письма от дяди приехавший из Петербурга его сосед по усадьбе стал подробно рассказывать о том почете, каким пользуются у государя и петербургских

вельмож мальтийские рыцари.

От этого приезжего помещика Рышкин между прочим узнал, что, как кажется, Павел Петрович хочет совсем отменить Георгиевский и Владимирский ордена, учрежденные покойною государынею для награды за заслуги военные и гражданские, что он никому не жалуется и намерен оба эти ордена, считавшиеся столь важными, заменить мальтийским крестом. Воображение честолюбивого сержанта разыгрывалось все живее и живее. Ему представлялись теперь: милостивый прием государя, любезности и даже заискивания у него со стороны царедворцев и та зависть, которую он возбудит в своих деревенских соседях, когда по возвращении из Петербурга явится отличенный почетом, невиданным еще в этом месте.

Живо собрался Степан Степанович в губернский город, чтобы выправить там необходимые доказательства своего «стопятидесятилетнего благородства». Но при этом его постигло горькое разочарование: оказалось, что по родословной росписи Рышкиных древность их фамилии восходила только до 1650



года, когда их предок-родоначальник, боярский сын Кузьма Рышкин, будучи на государственной службе, сидел в какой-то засеке в ожидании нашествия крымцев и был за это «верстан в диких полях помещным окладом». Степан Степанович был не только опечален, но и поражен этим прискорбным открытием.

– Недостает двух лет, – печально бормотал он, рассчитывая и мысленно, и по пальцам, и на бумаге древность своего рода.

Степан Степанович кидался во все присутственные губернские и уездные места с просьбою отыскать документ, который доказывал бы начало благородства Рышкиных за полтора года. Он обещал за это приказным хорошую денежную подачку, но все его просьбы и хлопоты приказных были тщетны; с 1650 года благородное происхождение Рышкиных оставалось покрыто мраком неизвестности. Не добившись решительно ничего и сильно расстроенный испытанною неудачей, Рышкин возвратился в свою усадьбу и в нетерпеливом ожидании истечения двух недостававших годов уклонялся от всякого разговора о Мальтийском ордене. На все во-

просы о том, когда же он будет командором, Рышкин резко и отрывисто отвечал:

– Погодите, разве можно скоро устроить столь важное дело, – а между тем честолюбивые мечты о командорстве не давали ему покоя ни днем, ни ночью.

## XXIII

Далеко и громко разносился по Волге в праздничный день утренний звон колоколов Николо-Бабаевского монастыря. Обитель эта не принадлежала, да и ныне не принадлежит, к числу известных по всей России монастырей, но тем не менее, находясь на людном водном пути, а также в семи верстах от Костромы и невдалеке от Ярославля, она издавна привлекала к себе богомольцев. С некоторого же времени наплыв их туда заметно увеличился против прежнего, особенно начали наезжать в Бабаевский монастырь помещицы и купчихи. По окрестным местам все шире и шире стала расходиться молва, что в этом монастыре проживает какой-то богоугодный монах, отец Авель, получивший от Господа дар прорицания[3]. Принялись в народе рассказывать, что Авель словно по книге читает прошлую жизнь каждого, угадывает его сокровенные помыслы и предрекает каждому не только все то, что случится с ним в жизни, но и предсказывает ему день смерти, а такое предсказание казалось чрезвычайно

важным, так как оно давало возможность грешным людям подготовиться заблаговременно к христианской, непостыдной, мирной и безгрешной кончине и к доброму ответу на страшном судилище Христовом.

Как с этою, так еще и с другою, особою целью пробирался теперь в Бабаевский монастырь на паре своих лошадок углицкий купец Влас Повитухин, немало принявший на душу грехов по торговой части. Порядком побаивался он смертного часа и, узнав о даре прощения отца Авеля, отправился к нему, чтобы услышать его правдивые пророчества, но еще более хотел он поговорить с отцом Авелем о другом, смущавшем его обстоятельстве. Не посчастливилось, однако, купчине в его поездке: верстах в десяти от монастыря подломилась ось под его грузной повозкой, которую, связанную и скрепленную кое-как веревками, медленно тащили к монастырю усталые лошадки. Повитухин не добрался еще до обители, как на монастырской колокольне ударили уже к «достойной». Купчина и его спутник, старик-приказчик, сняли картузы и начали набожно креститься.

– Вишь ведь, беда-то какая приключилась с нами, – заговорил хозяин. – Богу-то мы, видно, с тобой, Василий Иваныч, не угодили – к обедне запоздали. Вот теперь и оставайся в монастыре до завтра, да и отстой обедню, потому что уехать, не отстоявши обедни, недостойно; а там, смотришь, день-то и пропадет. Напасть это для торгового человека, да и только! – ворчал Повитухин.

– Не гневи, Влас Петрович, своим ропотом Господа Бога и его святого угодника, – заметил наставительно приказчик. – Эка беда, что один день потеряешь! Господь вознаградит тебя за твое усердие сторицею...

– Так-то так, да все-таки неладно – будет задержка по торговле: чего доброго, на один день запоздаешь, а глядь, на товар цены или прикинут, или поубавят...

Когда роптавший купчина и ободрявший его приказчик подъехали к святым воротам, обедня уже кончилась, и народ стал валить из монастыря. Губернская и уездная знать рассаживалась в свои старинные кареты, рыдваны и колымаги, а простой люд окружал лари торговцев съестными припасами и про-

бирался гурьбою в стоявшую около монастырской стены избу, где производился «царский торг», в ознаменование чего при избе торчал длинный шест с наткнутым на конце его веником из ветвей ели раструбом вверх. Шум, гам и песни неслись из этого веселого притона, где проворные целовальники едва успевали удовлетворять требованиям разгулявшихся богомольцев.

Оставив повозку и лошадей на попечение приказчика у святых ворот, купчина вошел за монастырскую ограду и стал приглядываться, выжидая, у кого поудобнее было бы навести нужные ему справки.

– Скажи, преподобный отче, – начал он, сняв с головы картуз и подходя под благословение к шедшему мимо его чрез монастырский двор монаху, – как бы мне свидеться с отцом Авелем?..

– А почто тебе он?.. – сурово спросил монах, преподав наскоро свое благословение купчине, поцеловавшему у инока руку.

Повитухин замялся, а монах пристально стал смотреть ему в глаза, выжидая его ответа.

– Да ведь тебе известно, преподобный отче... – забормотал Повитухин.

– Отца Авеля у нас уже нет, – отрывисто проговорил монах, – нешто не слыхал, что он теперь в Питере и в великой чести у государя Павла Петровича?

– Ничего не знаю: я ведь не тутошный... – пробормотал Повитухин.

– То-то, не тутошный! Мало вас здесь шляется, прости Господи!.. – резко брякнул монах, взглянув подозрительно на купчину и, предположив в нем забравшегося в монастырь разведчика или сыщика, хотел идти далее своей дорогой.

– Я – Влас Петров Повитухин, – заговорил вдогонку монаху оторопевший купчина, – я не тутошный, я – углицкий купец, в Костроме у меня есть приятель большой руки Семен Максимыч Грибушкин.

– Нешто тебе Семен Максимыч – приятель? – вдруг приветливым голосом отозвался вернувшийся в Повитухину монах.

– По одной торговле дела делаем и ведем их дружно.

– Ну, это – другая статья. Давно бы так ска-

зал. Да и для чего же ты хотел видеть Авеля? – уже ласково спросил отец Афанасий.

– Да насчет снов: совсем измучили меня, окаянного, – тихо проговорил Повитухин.

– Да ты, милый человек, не запиваешь ли?.. – спросил Афанасий.

– Как не запивать, – самодовольно ухмыляясь, отвечал Повитухин, – всяко бывает; да дело-то в том, что, почитай, больше месяца капли хмельного в рот не беру, а ведь поди же, преподобный отче, все те же самые сны являются.

– Да что ж тебе снится? – спросил монах, придавая лицу своему выражение глубокомыслия.

– Только что засыпать начну, как предстанет предо мною благочестивейший государь Павел Петрович да как взглянет на меня – так я весь и обомлею, обдаст меня словно варом, и я со страху-то проснусь, а какой-то голос – кто его ведает, чей он, – словно вдунет мне прямо в ухо:

– встань и иди! А куда идти – не договорит. Вот и хотел я от отца Авеля осведомиться: куда же идти мне? По торговому аль по иному



какому делу? – в недоумении растопырив руки, говорил купчина.

– Чуден твой сон... – заметил отец Афанасий, покачивая головою, – да отца-то Авеля от нас взяли по царскому указу, – проговорил он шепотом, – а есть у нас в монастыре и другой снотолковник, не хуже, пожалуй, Авеля будет – отец Паисий, да только ни он, да никто другой сна твоего толковать не возьмется. Приснись тебе, примером сказать, какой-нибудь угодник Божий, или иностранный царь, или какой ни есть вельможа, так ничего было бы – сон твой живо бы тебе истолковали, а о государе Павле Петровиче – ни, ни, ни... Разве не знаешь, какой страх на всех теперь нагнали...

Знакомство монаха с купчиною завязалось скоро. Оказалось, что они были почти что земляки, отыскалось у них несколько общих знакомых, пошла болтовня о том, о другом, и кончилось тем, что отец Афанасий пригласил к себе в келью Повитухина, обещаясь ему рассказать многое об отце Авеле. Заперев на щиколодку дверь кельи и выставив закусочку, отец Афанасий начал свой рассказ.

– Авель-то жил в нашей обители недолго. Пришел он к нам неведомо отколе; говорил, будто «какое-то видение вошло во внутреннюю его и соединилось с ним, якобы один человек, и направило его из Валаамского монастыря по разным монастырям и пустыням сказывать и проповедовать волю Божию и страшный суд Господень». Странствовал он так девять лет и пришел к нам в Бабаевский монастырь. У нас справлял он послушание, как следует каждому монаху, ходил в церковь и в трапезу, пел и читал, а в свое свободное время слагал книги.

– А что, старик он уже древний? – спросил Повитухин.

– Какое старик? И четырех десятков ему еще не будет. Вот он стал слагать у нас книги, а настоятель-то наш, отец Савва, нужно тебе знать – человек строгий, неученый и книжного дела насмерть побаивается. Меж тем отец Авель написал книгу мудрую, премудрую и показал ее ученому у нас монаху, отцу Аркадию. Тот прочел ее, да и боязно ему стало, так как он увидел, что в книге написано и о «царской фамилии». Отец Аркадий и заявил на-

стоятелю, тот собрал братию на совет. Думали, думали, да и порешили – отправить отца Авеля вместе с его книгою в Кострому, в духовную консисторию. В консистории ну его спрашивать: отчего он взял писать? И взяли с него сказку, что книга – его дело, и послали и сказку, и книгу к высокопреосвященнейшему нашему архиепископу Павлу. Владыко приказал привести к себе Авеля и только сказал ему: сия книга написана под смертною казнью – и затем, не говоря ничего другого, приказал отправить и его и книгу в губернское правление...

– А в книге-то что ж было написано? – перебил с сильным любопытством купчина.

– Постой, доскажу. В ту пору царствовала еще покойная государыня Екатерина Алексеевна. Из губернского правления отправили Авеля к губернатору. Тот как взглянул на книгу, так и ахнул, потому что в ней написаны были «царские имена и царские секреты». Губернатор приказал отца Авеля засадить сейчас же в костромской острог, а потом отправил его с прапорщиком и солдатом на почтовых в Питер.

– Поди ведь, сколько всем хлопот понаделал, – перебил Повитухин, – а что же в книге-то написано? – с усиленным любопытством снова спросил он.

– Постой, доскажу. Вот привезли отца Авеля в Питер и представили генералу Самойлову, что тогда «командовал всем сенатом». Как заглянул он в книгу, так весь и обмер.

– Да что же в книге-то было написано? – снова спросил Повитухин, побуждаемый неудержимым любопытством.

– Постой, скажу. Генерал-то и не знал, что ему делать, как сказать государыне, а не сказать было нельзя. Меж тем в книге-то было написано: «яко бы государыня, Вторая Екатерина, лишится скоро сей жизни, и смерть ей приключится скоропостижная» и прочая таковая написано в той книге. Как привели Авеля к генералу Самойлову, он заушил его трижды и крикнул: «как ты, злая глава, смел писать такие титулы на земного бога!»

– Господи! Страхи-то какие!.. – бормотал, крестясь, купчина. – Смерть земному богу предрекать вздумал!..

– Но Апель стоял пред генералом «в благо-

сти и весь в божественных действиях» и только ответил: «Меня научил писать сию книгу Тот, Кто сотворил небо и землю и вся, я же в них». Обозвал генерал тогда Авеля юродивым и велел его взять под секрет, а сам сделал доклад государыне. Та спросила только, кто Авель и откуда? и затем приказала послать его в Шлюшенскую крепость, в число секретных арестантов, и повелела ему быть в крепости до конца дней его. Случилось все это в феврале и в марте 1796 года. Сидел он там в строгом послушании, как вдруг государыня неожиданно-негаданно Богу душу отдала. Царь наследовал ей, согнал с места прежнего сенатского начальника и посадил на должность его другого. Этот и отыскал книгу Авеля и показал государю, что в книге предречен был день кончины царицы. Государь, узнав обо всем, призвал к себе Авеля и спросил, чего он желает? А тот отвечал ему: так-то и так-то, ваше императорское величество, от юности желание мое быть монахом. Тогда государь приказал жить ему в Невском монастыре в Петербурге, и жил Авель там в превеликом почете, словно какой епархиальный владыка.

Наши костромичи в Невском монастыре у него были и видели его во всей славе. Пожил, однако, он там недолго и ушел на Валаам, где сложил новую книгу, подобную первой, и отдал ее тамошнему игумену, а в книге этой, – заговорил чуть слышным голосом Афанасий, – написано было, что государь Павел Петрович процарствует только четыре с чем-то года, значит, и весь век его недолог будет. Как игумен это прочел, то позвал на совет братию и донес обо всем петербургскому митрополиту Гавриилу. Дошла весть и до государя, и он приказал заключить Авеля в Петропавловскую крепость, что среди Петербурга стоит.

– Поди ты, как все это чудно! – с изумлением и сильными вздохами проговорил купчина. – А что еще напроорочествовал этот Авель? – спросил он.

– Всего по рассказам не припомню. Запомнил только, будто он предсказал, что лет, кажись, через четырнадцать «какой-то западный царь, небывалого еще имени, пленит многие российские грады и возьмет первопрестольную Москву и истребит ее огнем и жупелом...»[4].

– Что ты, отец Афанасий! Неужто и сие сбудется? Ведь почитай что тогда все торговые дела пропадут; кто же из нашего брата купечества их на Москве не ведет! – с ужасом заговорил Повитухин.

– Книга-то отца Авеля больно мудра, на совете у отца настоятеля мы ее все видели, круги какие-то изображены; изображена также и земля, и месяц, и твердь, и звезды... Мало что и в толк возьмешь. А в книге-то говорится, будто бы земля сотворена из «дебелых вещей», а солнце – «из самого сущего вещества» и что звезды не меньше луны, у которой один бок светлый, а другой – темный...

– Эки диковинки! – проговорил Повитухин, слушая отца Афанасия, – ведь, кажись, и весь-то мир из ничего произведен, какие же тут дебелые вещи прилучились?

– Нынче – все диковинки, Влас Петрович, от всего идут отступления. Слышал ты, статья может, какая небывальщина теперь в Питере заводится...

– Нет, не слыхал... А что?

– Да поговаривают, что около царя такие монахи будут, которые в то же время и офице-

рами, и генералами служить обяжутся и на войну станут ходить при пушках...

– Ой ли?.. Статочное ли это дело? – вскрикнул в изумлении купчина. – Да этак, чего доброго, и тебе, отче, самопал в руки дадут да на войну отправят, – заливаясь от хохота, трунил повеселевший уже Повитухин.

– Не больно, брат, подсмеивайся над чернецами; ведь и твой-то сон не к добру, смотри, как попадешь в солдаты, тебе и скомандуют: иди!.. а куда не скажут...

– Нынче все статья может, – уже боязливо заметил оторопевший купчина. – Как слушаешь, что толкуют приезжие из Питера, так просто уши затыкать приходится; грозное наступило время: до всех, кажись, по очереди добратся хотят. Беда, да и только...

– То-то и есть, – заметил Афанасий, – да и про войну в народе недобрые слухи ходят; бают, что с целым светом за какой-то святой остров воевать станем, что будто бы... и церковь православ...

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!.. – заговорил вдруг за дверью писклявый голос.



– Аминь! – отозвался вздрогнувший Афанасий, отмыкая задвижку и заглядывая за дверь.

– Тебя отец настоятель к себе кличет, враз ступай!.. Кажись, над тобой сыск учинить хотят... – скороговоркою промолвил послушник.

Афанасий заметно струсил и, надев поскорее рясу и клобук, бегом побежал из кельи, не распростившись даже с гостем.

«Уж не подслушал ли кто нас?» – с ужасом подумал Повитухин и, забрав шапку, выбрался поскорее из кельи за монастырские ворота, взобрался быстро на повозку и повернул лошадок на Ярославскую дорогу.

«Ой, ой! Страшные времена наступили, – бормотал Повитухин, сидя в повозке. – Куда как не к делу помешал келейник. Хотел я было спросить отца Афанасия, правда ли, что государь собирался служить обедню, да митрополит Платон отговорил его, указав на то, что он, как вдовец, потерявший вторую супругу, священнодействовать не может. Отец Афанасий должен знать досконально об этом», – размышлял Повитухин.

В народе действительно ходил такой слух,

и поводом к нему послужило следующее обстоятельство. Когда Грузия вступила в русское подданство, то с извещением об этом должны были приехать оттуда депутаты, и Павел Петрович намерен был при торжественном их приеме явиться в одеянии грузинских царей, которое состояло из так называемого «далматика», сшитого из парчи и по покрою совершенно сходного с архиерейским сакосом. Такая одежда была заказана для императора, и это возбудило толки о том, что он будет служить обедню в архиерейском облачении. Странности же и причуды государя придавали правдоподобие этим толкам.

## XXIV

С горячим и неустанным рвением поддерживали иезуиты безграничную власть папы в католической церкви против власти местных епископов. Они делали это из своих собственных видов: папа, живший в Риме, не был для них так опасен, как епископы, усилившиеся подчинить себе общество иезуитов наравне со всеми монашескими орденами. Таким стремлением отличался в особенности митрополит римско-католических церквей в России Станислав Сестренцевич. Он всячески гнул иезуитов, насколько у него хватало силы, и если порою отношения его к ним принимали миролюбивый характер, то он допускал это только в силу крайней необходимости. Он слишком хорошо знал последователей Лойолы, ясно понимал их зловердные замыслы и потому не мог никогда искренне сблизиться с ними; зато же и они не жаловали его, стараясь всеми способами низвергнуть враждовавшего с ними прелата.

Иезуиты были слишком сильны: они всюду имели своих агентов, всюду умели заки-

нуть свои сети, и потому борьба с ними представлялась делом чрезвычайно трудным и опасным.

Когда в 1770 году было сделано покушение на жизнь короля Станислава Понятовского, Сестренцевич, бывший в ту пору виленским суффраганом, не затруднился выступить на церковной кафедре с сильною обличительною речью против своеволия и бурливости своих соотечественников, не щадя при этом могущественных магнатов. Речь молодого епископа была как бы политической его исповедью и обратила на него внимание императрицы Екатерины II, поставившей его вскоре после присоединения Белоруссии к России во главе католической церкви в империи.

Приезжая в Петербург, епископ представлялся обыкновенно великому князю Павлу Петровичу, который чрезвычайно любил прелата, умевшего толково поговорить и о выправке нижнего военного чина, и о пригонке амуниции, и об иерархическом устройстве духовенства, и о разных важных предметах, а также и о мелочах обыденной жизни. Расположение наследника престола к Сест-

ренцевичу дошло до того, что когда однажды этот последний в бытность свою в Гатчине вдруг сильно захворал, то Павел Петрович не только заботился о нем, но почти каждый день сам навещал больного. Обстоятельство это еще более сблизило их. В разговорах с Павлом епископ выказывал свои убеждения, сводившиеся к тому, что он послушание государю ставит своею первою обязанностью. При этом он говорил о необходимости строгого подчинения духовенства епископской власти и полагал возможным, ввиду того, что в присоединенных от Польши областях значительная часть населения были католики, образовать в России независимую от папы католическую церковь, представитель которой пользовался бы такою же самостоятельностью, какою, например, пользовался португальский патриарх, или же взамен единоличной власти епископа учредить католический синод, который и управлял бы в России римскою церковью.

Вступив на престол, Павел Петрович не только не забыл Сестренцевича, но и приблизил его к своей особе. Государю нравилось от-

сутствие в нем ханжества и лицемерия, и император был чрезвычайно доволен, когда сановитый прелат, облаченный в кардинальский пурпур, являлся на придворные балы среди блестящих кавалеров и пышно разодетых дам. Часто случалось, что император на балу подолгу беседовал с митрополитом, разговаривая с ним по-латыни, и ласково подсмеивался над ним, замечая ему о том соблазне, какой он производит в пастве своим появлением среди танцующих. Митрополит отшучивался в свою очередь, отвечая, между прочим, что он не находит ничего предосудительного бывать в том обществе, где встречается в лице хозяина помазанника Божьего. Вообще в первое время царствования Павла Петровича отношения к нему государя отличались постоянным вниманием и необычайною благосклонностию.

Ошибочно было бы, однако, полагаться на прочность и продолжительность таких отношений. Одна какая-нибудь случайность, один ловко сделанный наговор могли не только изменить, но и совершенно их уничтожить. Между тем для выставки пред государем Сест-

ренцевича в неблагоприятном для него свете можно было найти много поводов не только по делам церковным, но и по делам политическим.

Покровительство, оказанное императором Мальтийскому ордену, грозило изменить прежние отношения. Сестренцевич знал, что орден наводнен был иезуитами, ему было известно, что после секуляризации общества Иисуса в Баварии самые отборные силы этого общества вступили в число мальтийских рыцарей, среди которых и без них было уже немало тайных иезуитов, а этого было вполне достаточно, чтобы возбудить нерасположение и недоверие епископа к державному ордену. Когда распространился в Петербурге слух о намерении графа Литты, женившись на Скавронской, остаться с разрешения папы в Мальтийском ордене, то Сестренцевич заговорил против правильности такого разрешения и тем самым навлек на себя негодование патера Грубера, орудовавшего этим делом. Впрочем, и независимо от того война между прелатом и иезуитом велась весьма деятельно, и лица, знавшие об их взаимной

неприятни, задавались вопросом, кто кого из них одолеет? Императору была очень хорошо известна эта неприязнь, и он пытался помирить их. Мир был заключен в Гатчине только для вида по воле государя, а с своей стороны иезуит продолжал по-прежнему подводить подкопы под митрополита.

Началось с того, что Грубер и его партия, в составе которой было немало приближенных к государю лиц, старались выставить Сестренцевича до того забывшимся в упоении своей духовной власти, что он осмеливается не подчиняться повелениям и указам императора. Достаточно было представить относительно этого лишь какие-нибудь, хотя и весьма слабые, доказательства, чтобы окончательно погубить прелата, но таких доказательств не находилось, и обвинение Сестренцевича по этой статье ограничилось лишь смелыми голословными наветами, которые уничтожались в глазах государя беспрекословным повиновением прелата. Тогда иезуитская партия задумала уронить его достоинство и лично наносимыми ему оскорблениями побудить его к подаче государю просьбы



об увольнении. Сестренцевич умел, однако, своею твердостью сдерживать подобного рода попытки, и тогда неприятели его стали ловить каждое его слово и стараться всякое его разумное и основательное распоряжение выставлять протестом против воли государя. Они пользовались его частною и даже дружескою перепискою, отыскивая в ней поводы к обвинению митрополита, запутывали его в дела, в которых он не принимал никакого участия, лгали, клеветали на него и, чтобы выразить ему свое неуважение и пренебрежение к его епископской власти, не приводили в исполнение делаемых им по митрополии распоряжений.

После долгих, но тщетных стараний иезуитской партии удалось наконец, нанести сильный удар своему противнику. Майор д'Анзас просил прямо императора о разрешении ему вступить в брак с родною сестрою его покойной жены. Государь непосредственно от себя разрешил эту просьбу, написав между прочим в своей резолюции: «отныне я сам буду разрешать браки в недозволенных законом степенях родства». Иезуитская пар-

тия воспользовалась такою резолюцией государя и начала осыпать митрополита укорами за то, что он своею податливостью допустил такое необычное вмешательство светской власти в дела, подлежащие исключительно ведению церкви. Сестренцевич, поставленный в крайне неприятное положение, обратился за советом к князю Куракину, который, будучи настроен иезуитами, посоветовал митрополиту протестовать против резолюции, сославшись на то, что все епископы оскорблены ею. Сестренцевичу грозила уже страшная опала, но один случай не только предотвратил ее, но и доставил ему снова чрезвычайное благоволение государя.

В это время умер герцог Вюртембергский, отец императрицы Марии Федоровны. Герцог был католического вероисповедания, и Сестренцевич сделал распоряжение, чтобы во всех католических церквях была отслужена по нем заупокойная обедня, а сам по этому случаю произнес в церкви на немецком языке трогательную речь. Как только Павел Петрович узнал об этом, тотчас же потребовал митрополита к себе и, выразив признатель-

ность за его образ действий, подарил ему богатое облачение и наперсный крест, осыпанный бриллиантами, и вдобавок к этому надел на него Александровский орден. Иезуиты отступили несколько назад, но прежние их подпольные интриги не унялись. На свержение митрополита они смотрели как на такое обстоятельство, которое даст им возможность утвердиться прочно при дворе и установить свое влияние не только на католическую церковь в России, но отчасти и на все как внутреннее, так и внешние государственные дела. Иезуитская работа шла теперь во дворце русского государя с такою деятельностью, которая была бы уместна разве в Эскуриале во времена Филиппа II, а мальтийские рыцари, которые составляли силу в высшем русском обществе, были деятельными пособниками иезуитов.

Недолго, однако, митрополит пользовался спокойствием. Иезуиты снова начали тревожить его, а в расположении к нему императора, быстро переходившего от доверия к подозрительности, от привязанности к ожесточенности, начало появляться заметное колеба-

ние. Вскоре они успели довести дело до того, что по доносу нескольких белорусских монахов на самовластие Сестренцевича император назначил над ним следствие, уронившее митрополита в глазах всего духовенства и придавшее врагам его особенную смелость. Сестренцевич, однако, уцелел и на этот раз...

Иезуиты не утомнились и решились нанести митрополиту новый удар.

Сестренцевич с согласия императора удалил с кафедры епископа Дембовского, который, жалуясь на начальнический произвол митрополита, обратился по внушению иезуитов к покровительству папского нунция Лоренцо Литты. Нунций с жаром вступился за удаленного епископа, требуя чрез князя Безбородко восстановления Дембовского в его епархии. Тщетно митрополит убеждал нунция не вмешиваться в это дело, ссылаясь на то, что на удаление епископа последовало согласие самого государя. Нунций не унимался и отправил канцлеру резкую ноту. Император вышел из себя и расправился с нунцием по-своему. Он приказал оставить ноту Литты без ответа и послал князя Лопухина изве-

стить нунция, что его эминенции запрещен проезд ко двору. Не успел еще Литта оправиться от этого удара, нанесенного его самолюбием, как последовал на имя генерал-прокурора Беклешева следующий указ: «Нашед не нужным постоянное пребывание папского посла при дворе Нашем, а еще менее правление его католическою церковью, повелеваем папскому нунцию Литте, архиепископу фивскому, оставить владения наши». Вследствие этого указа Литта должен был выехать из Петербурга в двадцать четыре часа. Император для объяснения папе такой крутой меры с представителем апостольской власти приказал Сестренцевичу написать письмо и отправить его к находившемуся в то время в Италии фельдмаршалу Суворову, который должен был вручить это письмо лично папе.

Такое поручение, данное русскому полководцу, имело в глазах императора особенное значение. Суворов должен был восстановить в Италии и духовную и светскую власть папы, вытеснив оттуда «безбожных» французов. Таким образом, он являлся поборником католицизма, и папа не мог иначе как только бла-

госклонно отнестись к такому лицу и снисходительно взглянуть на тяжкое оскорбление, нанесенное в Петербурге представителю папского престола.

Высылка нунция сильно поразила иезуитскую партию, но при этом гнев государя не коснулся вовсе брата нунция Джулио Литты, а патер Грубер оставался у митрополита в прежней милости и начал занимать его пылкое воображение проектом о соединении церкви восточной и западной, указывая при этом на католичество под главенством папы как на непреодолимый оплот монархической власти против всяких революционных попыток. Между тем Сестренцевич вел дело совершенно в ином направлении, думая придать полную самостоятельность католической церкви в России под властью местного епископа, и заявлял, что папская власть над всем католическим миром обязана своим происхождением только крайнему и глубокому невежеству средних веков, когда многие из латинских епископов не умели даже писать.

При Павле Петровиче Петербург во многих отношениях представлялся совершенно иным городом в сравнении с тем, чем он был в царствование Екатерины. Хотя в последние годы своей жизни императрица начала стараться о том, чтобы искоренить у себя в государстве дух свободомыслия и вольнодумства, но клонившиеся к этому меры не проглядывали вовсе во внешней жизни столицы. В Петербурге, как казалось, все шло по-старому, и город не имел того вида, какой он получил при Павле Петровиче. При императрице дисциплина в гвардейских полках соблюдалась очень слабо: изнеженные гвардейские офицеры в ее времена не носили вне службы мундиров. Они являлись на улицах летом во французских кафтанах, а в зимнее время с муфтами в руках, разъезжая в каретах. Как они, так и вообще все тогдашние петербургские щеголи внимательно следили за парижскими модами, а когда, под влиянием французской революции, были выведены из употребления прежние костюмы, то и в Петер-

бурге оставили пудру и стали носить фраки и круглые шляпы, шнурованные сапожки, суковатые палки и огромнейшие кисейные жабо, так что смиренные петербургские горожане усвоили себе подобие свирепых и отчаянных французских революционеров.

Со вступлением на престол Павла Петровича во всем этом произошла быстрая и резкая перемена. Он повелел офицерам являться всюду в нововведенных им мундирах на прусский образец и запретил им ездить по городу иначе, как только: летом в дрожках, а зимою – в одноконных санях. Впрочем, в отношении одежды подошли под строгие требования государя не одни только военнослужащие, но и вообще все мужское население Петербурга. Так, в январе 1798 года было объявлено от полиции, чтобы «торгующие фраками, жилетами, стянутыми шнурками и с отворотами сапогами или башмаками с лентами, их отнюдь не продавали, под опасением жестокого наказания». Вместе с этою угрозою для того, чтобы вернее обеспечить сделанное по городу распоряжение, приказано было: «Все упомянутые вещи, находящиеся у тор-



говцев, представить в полицию». Вдобавок к этому полицейские мушкетеры стали ходить по улицам с палками и ими сшибали круглые шляпы с тех дерзновенных, которые после такого запрета отважились показываться в недозволенном головном уборе. Дозволено было носить только «немецкое платье с одинаковым стоячим воротником»; запрещены были «всякого рода жилеты», а разрешены были только «немецкие камзолы»; предписывалось не носить «башмаков с лентами, а только с пряжками»; не дозволялось «увертывать шею безмерно платками, галстуками и косынками, но повязывать оные приличным образом, без излишней толстоты». Вид тогдашних больших жабо, вошедших в моду, которые Павел Петрович называл «хомутинами», приводил его в страшный гнев. Приказано было также, чтобы «никто тупеев, опущенных на лоб, не имел». Все офицеры, гражданские чины, дворяне и люди, носящие немецкое платье, обязаны были пудриться. Вообще Павел Петрович терпеть не мог модных французских нарядов и говорил, что терпит в Петербурге семь модных французских магази-

нов только по числу семи смертных грехов.

Требования императора не ограничивались только этим.

Известно, что Петр I запретил при встрече с ним падать ниц на землю, объявив, что такое поклонение подобает воздавать единому только Богу. Император Павел хотя и не восстановил старинного поклонения, но потребовал изъявления знаков особого уважения к его особе. При представлении ему следовало не просто стать на колени, но стукнуть при этом коленом об пол так сильно, как будто ружейным прикладом. Поданную государем руку следовало целовать так громко, чтобы чмоканье было слышно на всю залу. Несоблюдение этого правила нередко навлекало его опалу. На улицах не только мужчины, но и дамы, встречавшиеся с ними, должны были, несмотря на дождь, снег, слякоть и грязь, выходить из экипажей, причем дамы из страха делали ему глубокий реверанс, остановившись среди улицы, хотя им, в виде снисхождения, и дозволено было исполнять это на подножке кареты. От такой обязанности не была освобождена и императрица, которой,

впрочем, августейший супруг оказывал то особенное внимание, что, в ответ на отданную ему императрицей почесть, сходил с коня или высаживался из экипажа и подавал ей руку, чтобы помочь ее величеству сесть опять в карету или в сани. Полиция бдительно следила за каждым выездом государя из дворца, полицейские конные драгуны скакали, а пешие мушкетеры бежали во всю прыть, приказывая встречным на пути снимать не только шляпы, но перчатки и рукавицы. Мимо дворца государева позволялось проходить не иначе как сняв шляпы, а гулявшие в Летнем саду, считавшемся дворцовым, должны были все время прогулки ходить с непокрытыми головами. Следить за обязанностью петербургских жителей – отдавать государю на улицах почесть, сделалось еще затруднительнее, когда Павел Петрович, так сказать, раздвоил свою особу на личность великого магистра. Если государь появлялся на улице в сопровождении свиты или прислуги, одетой в красный цвет – цвет Мальтийского ордена, то он почитался как бы только великим магистром, и тогда никто не должен был замечать его

присутствия в столице, а мчавшиеся и пешие, и конно-полицейские чины, в противность обыкновенному порядку, то грозно кричали встречным, то убедительно просили их, чтобы они не снимали шляп при проезде императора.

Понятно, что при таких условиях улицы Петербурга бывали большею частью пусты, все избегали встречи, которая могла навлечь страшные неприятности, а однажды в течение нескольких дней в Петербурге почти во все не показывалось экипажей. Как-то в присутствии генерал-губернатора Архарова император, взглянув в окно, увидел экипаж с лошадьми в немецкой упряжке. Государь похвалил эту упряжь, и в тот же день вышло распоряжение, чтобы все жители столицы завели немецкую упряжь, так как с 1 сентября 1798 года никому не позволено будет «ездить по городу в дрожках, а также цугами в хомутах».

Случились и другие еще внешние преобразования в Петербурге. Так, например, запрещено было иметь на магазинах и лавках вывески на французском языке, а вслед за тем не дозволено было называть торговые заведе-

ния магазинами, ввиду того что только правительство может иметь магазины провиантские и комиссариатские. Частные постройки в Петербурге чрезвычайно замедлялись в царствование Павла Петровича, так как вследствие желания его окончить сколь возможно скорее постройку Михайловского замка не дозволено было продавать кирпич никуда, как только для этой постройки.

Часть текста отсутствует (стр. 477—484)

развод. Грубер, остававшийся в предкабинетной зале, волновался и злился, с нетерпением ожидая выхода Палена.

– Ну, все ли ты кончил и нет ли еще чего-нибудь у тебя? – спросил государь с явным выражением нетерпения и в движениях, и в голосе.

– Я кончил все, но патер Грубер желает войти к вашему величеству... – доложил Пален.

– Что ему нужно? – отрывисто спросил император.

– Говорит, что пришел с проектом о соеди-

нении церквей, – с легкой усмешкой заметил генерал-губернатор.

– Знаю я его проекты, это старая погудка на новый лад. Ну его! Пусть убирается; скажи ему, что мне теперь некогда; может прийти в другой раз, – с заметною досадою проговорил император.

Пален, крепко недолюбливавший Грубера, не без удовольствия передал ему отказ императора в сегодняшнем приеме. Точно громовым ударом поразили иезуита слова генерал-губернатора. Он побледнел и растерялся, полагая, что лишился милостивого расположения государя, что теперь пропала вся его долголетняя, неутомимая работа и что борьба, которую он вел со своими противниками так упорно, не привела его ни к чему. Подавленный и расстроенный, он нетвердыми шагами вышел из приемной государя.

Резкое обращение Палена с Грубером, считавшимся в ту пору едва ли не всемогущим лицом у государя, произвело на присутствующих сильное впечатление. Пален обвел их глазами с торжествующей улыбкой и насмешливо посмотрел вслед иезуиту, уходяв-

шему с понуренною головой.

– Должно быть, отец Грубер недосмотрел, откуда сегодня дует ветер, – ухмыляясь, проговорил бывший в приемной генерал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, обращаясь к стоявшему подле него князю Лопухину. – Ведь, кажись, как хитер, а, должно быть, еще не подметил, что у нас делаются теперь дела, смотря по тому, откуда дует ветер.

– Да, странная особенность в природе государя, – отозвался шепотом Лопухин. – Он становится особенно мрачен и недоволен, когда дует северный ветер. Граф Иван Павлович давно уже заприметил и говорил мне, что это случается с его величеством с самых ранних лет.

– Оттого-то, видно, Иван Павлович и умеет так сохранить к себе неизменную благосклонность государя. Он знает, откуда дует ветер и о чем в какую пору можно докладывать его величеству, – подсмеиваясь, заметил Кутузов, желавший, чтобы император, который был сегодня не в духе, не потребовал его к себе или не заговорил бы с ним.

Желание Кутузова на этот раз исполни-

лось. Государь, выйдя из кабинета, не обратил внимания ни на кого из находившихся в приемной и отправился прямо на развод, происходивший, по обыкновению, на плац-параде, перед Михайловским замком.

После обеда императрица с фрейлиною Протасавою поехала в Смольный монастырь, а государь отправился с графом Кутайсовым верхом на обычную прогулку. В воздухе в этот день веяло весенним теплом. Государь, объехав аллеи сада, повернул домой и медленно, в глубокой задумчивости, въехал в ворота недавно занятого им Михайловского замка. На фронте этого замка, выглядывавшего грозною недоступною твердыней среди мрамора и гранита, ярко блестела при лучах склонявшегося к закату солнца начертанная золотыми буквами надпись: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней».

В 9 часов вечера император сел по обыкновению за ужин. Из семейства государя за столом находились великие князья Александр и Константин Павловичи с их супругами и великая княжна Мария Павловна; а из посторонних лиц статс-дамы: графиня Пален с до-



черью, баронесса Ренне и графиня Ливен, камер-фрейлина Протасова, генерал М. И. Голенищев-Кутузов с дочерью, обер-камергеры граф Строганов и граф Шереметев, обер-гофмаршал Нарышкин, шталмейстер Муханов и сенатор князь Юсупов. За ужином император был мрачен и неразговорчив.

В десять часов с четвертью государь, встав из-за стола, пошел в свои покои, с ним побежала, ласкаясь к нему и как будто задерживая его на ходу, любимая его собачка Шпиц.

Еще не занималась на небе утренняя заря, когда в городе началось какое-то суетливое, необыкновенное движение. Гвардейским полкам был отдан приказ тотчас собраться на полковые дворы, и там принесли они присягу на верность вновь воцарившемуся Александру Павловичу, а высшие военные и гражданские чины безотлагательно созывались особыми повестками в Зимний дворец. Между тем в Михайловском замке дежурный гоф-курьер записывал следующее: «Сей ночи, в первом часу с 11-го на 12-е число, скончался скоропостижно в Михайловском замке государь император Павел Петрович».

Кончина императора застала Грубера среди обширных замыслов и приготовлений. Хотя влияние его на политические дела при новом государе тотчас же прекратилось, но орден иезуитов утвердился в России. Император Павел отправил к избранному под его влиянием в 1799 году папе Пию VII собственноручное письмо, прося его святейшество о восстановлении в пределах России иезуитского ордена на прежних основаниях. Ответ папы на это письмо не застал уже в живых государя. «Возлюбленный мой сын, – писал Пий VII Павлу, – мера сия полезна. Она будет противодействовать стремлениям, направленным к ниспровержению религии и общественных порядков». Император Александр Павлович привел в исполнение желание своего родителя, и вскоре деятельный поборник иезуитизма Грубер был избран генералом, или «шефом» восстановленного ордена, но недолго пришлось ему стоять во главе общества Иисуса.

В ночь на 26 марта 1805 года показалось над Петербургом зарево. По улицам загремели трещотки, поскакали пожарные, помча-

лись полицейские драгуны и повалил народ к месту пожара, который вспыхнул на Невском проспекте в доме католической церкви. В одном из окон охваченного пламенем здания вдруг сильно зазвенели стекла, я в разбитой раме показалось искаженное ужасом лицо Грубера. Он пытался, но не мог пролезть в раму, чтобы броситься на улицу, а между тем из окна выбились густые клубы черного дыма и рванулось красное пламя. Грубер исчез. Когда же пожар окончился, то найдены были обуглившиеся останки патера в том помещении, из которого он вытеснил митрополита Сестренцевича.

Судьба Мальтийского ордена после кончины его пылкого защитника была печальна. Около этого воинственно-монашеского учреждения сосредоточивались в царствование Павла все главные нити нашей внешней политики, и дела ордена вовлекли Россию в войну сперва с Франциею, а потом с Англиею. Император Александр Павлович нашел необходимым устранить те затруднения, в которые ставило его соединение сана великого магистра с саном русского государя. На чет-

вертый же день по вступлении своем на престол он объявил, что «в знак доброжелательства и особого благоволения» принимает орден св. Иоанна Иерусалимского под свое покровительство, но что вместе с тем он будет оказывать свое содействие к избранию великого магистра, достойного предводительствовать орденом, когда с согласия прочих дворов можно будет назначить место и средства к созыву генерального капитула. Вслед за тем он приказал отменить изображение мальтийского креста в русском государственном гербе и вовсе не намеревался отнимать у англичан Мальту ни в пользу ордена, ни в пользу России. Хотя, по Амьенскому договору, англичане обязались возвратить остров мальтийскому рыцарству, но они и не думали исполнить свое обещание, а в 1814 году Мальта была окончательно оставлена за ними. Покровительствуемые императором Павлом мальтийские кавалеры обратились после его кончины в странствующих рыцарей, отыскивая себе пристанища при разных европейских дворах, а сан великого магистра, так высоко поднятый могущественным русским государем, до-

стался после него мало кому известному командору Томази.

Несмотря на все бедствия, постигшие Мальтийский орден, он доныне существует, но только не в России. Главную его резиденцией считается, с 1844 года, Рим, а упрямый «Almanach de Gotha» продолжает показывать по-прежнему державный орден святого Иоанна Иерусалимского в числе самостоятельных европейских государств.

В России, где водворение Мальтийского ордена возбудило всеобщее недоразумение и породило ропот среди православного духовенства, остались слишком слабые следы «се-го древнего, знаменитого и почтительного учреждения». В Петербурге, в католической церкви при пажемском корпусе – в бывшей капелле при «замке мальтийских рыцарей», – можно видеть еще и теперь осененное бархатным с изящным золотым шитьем балдахином царское место, предназначенное для императора Павла как для великого магистра. В московской Оружейной палате хранятся вынесенные гоф-курьерами, без всякого церемониала, из бриллиантовой комнаты

Зимнего дворца регалии великого магистра: корона и «кинжал веры». В Романовской галерее того же дворца висит портрет императора Павла, изображенного искусным живописцем Боровиковским в одеянии верховного вождя мальтийских рыцарей; а в домах некоторых наших дворян смотрят со стен закоптевшие и потрескавшиеся портреты их дедов и прадедов, украшенных при императоре Павле знаками державного ордена святого Иоанна Иерусалимского, да еще кое-где в дворцовых залах и на зданиях времен Павла Петровича мелькают осьмиконечные кресты этого ордена, под сенью которых мечтательный владыка русской земли думал совершить в своем государстве коренные преобразования на основах совершенно чуждого нам рыцарства.

Александр I, снимая опалу с лиц, подвергнувшихся ей при его предшественнике, тотчас же позволил графу Литте приехать из его изгнания в Петербург. Возвратившийся Литта и его супруга были одними из самых блестящих представителей высшего петербургского общества. Графиня Екатерина Васильевна

скончалась 7 февраля 1827 года, а граф Юлий Помпеевич Литта кончил жизнь 24 января 1839 года. После Венского конгресса ему, как командору Мальтийского ордена, возвратили его огромное состояние в Италии, конфискованное директориею Французской республики. В России были у него обширные имения и большие капиталы, и все его богатства – за выделом, по его завещанию, весьма значительных сумм на разные благотворительные цели – достались его племянникам, графам Литтам, жившим постоянно в Милане.

Сестренцевич был возвращен императором Александром из ссылки и, управляя деятельно церковью, сделался известен своими учеными трудами. Обворожительная Генриетта Шевалье оставалась долгое время предметом нежной страсти Кутайсова, но бенефисы не были уже для нее такою обильною жатвою, какою были прежде, а сожитель ее навсегда остался в майорском ранге, добытом ему Кутайсовым.

Горячее участие императора Павла Петровича к судьбе мальтийских рыцарей готовило события, грозившие в Европе сильными

потрясениями. Такое участие государя происходило из его рыцарских чувств, религиозной восторженности и великодушных порывов. Если, однако, попристальнее всмотреться во все, что тогда происходило, то окажется, что главным двигателем дел в России были несколько слов, случайно сказанных очаровательною женщиною влюбленному в нее до безумия мужчине...



# КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ И ЗАБЫТЫХ СЛОВ

**Б а л ь и** – см. гл. XX.

**Б а с о н** – плетенные изделия из нитей, предназначенные в основном для украшения.

**Б р е к ч и я** – горная порода, состоящая из сцементированных обломков различных пород.

**Г а л л и к а н с т в о** – религиозно-политическое движение (XIII в.), сторонники которого добивались автономии французской католической церкви от папства.

**Ж у п е л** – по христианским представлениям, горящая сера, смола для грешников в аду.

**З а у ш и т ь** – ударить рукой по щеке, дать оплеуху.

«И ф и г е н и я в А в л и д е» (1774), «Ифигения в Тавриде» (1784)

– оперы Глюка.

**К а з и м и р** – вышедшая из употребления шерстяная ткань, легкое сукно, полусукно с косой ниткой.

К у т т е р, или т е н д е р, – морское парусное одномачтовое судно с косыми парусами; в парусном военном флоте – самый малый корабль.

Н е д о т ы к а – недотрога.

Н е д у г о в а т ь – болеть, хворать.

О с т р о ж с к а я о р д и н а ц и я – см. гл.

VIII.

П о е з ж а н е – здесь: участники торжественной процессии, поезда.

П р и т о н – пристанище, прибежище, убежище, приют, пристань, привал.

С х и з м а – церковный раскол; схизматик – раскольник.

С у п е р в е с т – кафтанчик без рукавов.

С у ф ф р а г (и) а н – в католической церкви то же, что викарий в православной. В древнерусской церкви – наместник при епископах.

Т у п е й – взбитый хохол.

У н и ч т о ж е н и е – здесь: унижение, уничижение.

Ф у х т е л ь – удар по спине плашмя обнаженной шпагой, саблей.

Щ и к о л о д (т) к а – здесь: то же, что щеклда.

Э м и н е н ц и я – титул католических священников и кардиналов; до XVII в. также титул духовных курфюрстов и гроссмейстеров ордена иоаннитов.

Э с п а н т о н – небольшая пика с плоским наконечником и поперечным упором. Была на вооружении в русской армии до 1807 г.

# Примечания

*Предисловие к изданию 1904 г.*

[^^^]

## 2

*Вся эта глава исторически верна.* – Прим. авт.

[^^^]

*Личность историческая.* – Прим. авт.

[^^^]

## 4

*В книге Авеля действительно находится это предсказание. Есть также известие, будто Абель предсказал время кончины императора Александра Павловича и происшедшую после этого смуту. – Прим. авт.*

[^^^]